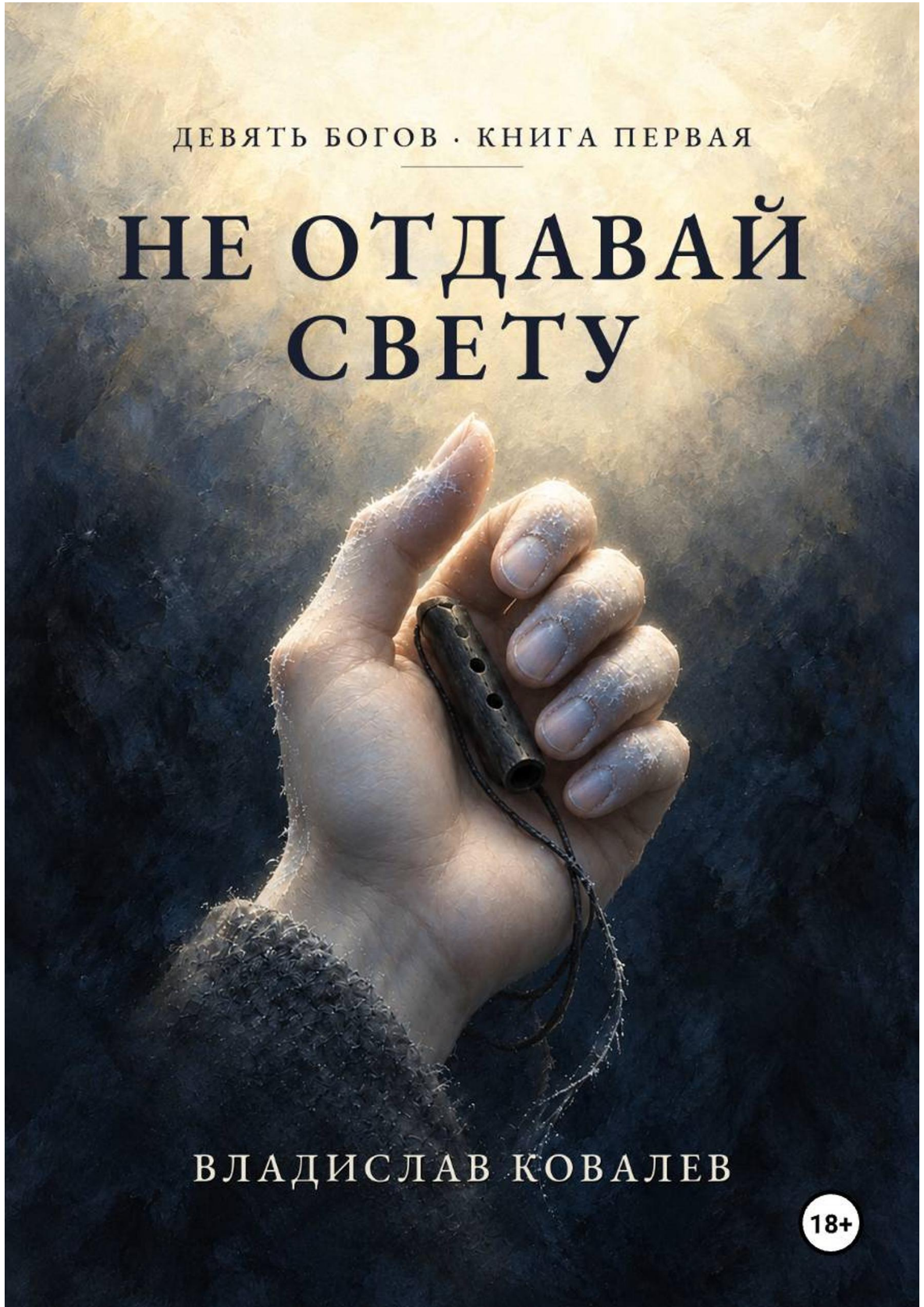
ДЕВЯТЬ БОГОВ · КНИГА ПЕРВАЯ

НЕ ОТДАВАЙ СВЕТУ



ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕВ

18+

Владислав Ковалев

Не отдавай свету

«Автор»
2026

Ковалев В. А.

Не отдавай свету / В. А. Ковалев — «Автор», 2026

Восемь из Девяти богов мертвы. В ночь, когда умер восьмой, весь мир на миг замер, а свет стянулся в одну точку над холмами — и никто не знает, что это было.Девятнадцатилетний послушник храма Перехода Кассиан проспал смерть младшей сестры. Через три недели он слышит из её могилы то, чего там быть не может. Наследник Кордара пытается купить мир, которого не хочет никто. Сновидица из осаждённого города с детства видит один и тот же сон. Капитанша контрабандной шхуны ищет остров, который уплыл. А рыцарь Стражи Солнца идёт по следу еретика, уверенный, что спасает мир.Первая книга цикла «Девять богов» — эпического тёмного фэнтези о власти, правде и цене возвращения.

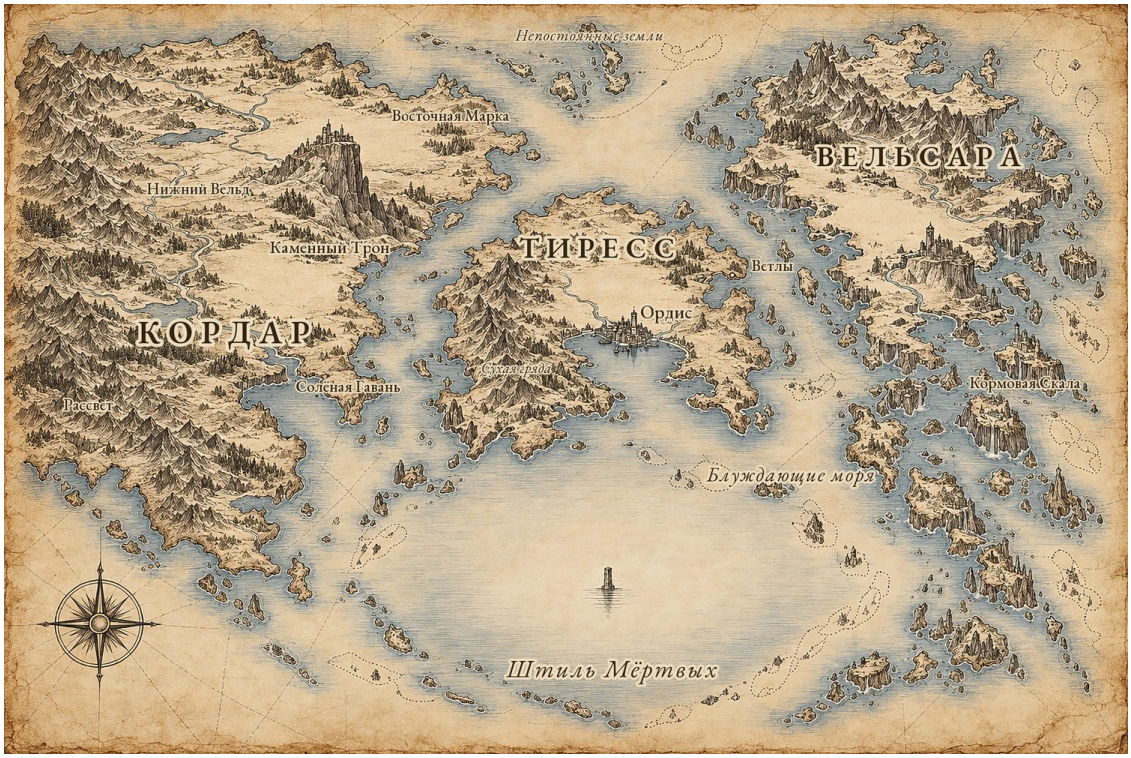
© Ковалев В. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Карта Эйрдана	5
Восемь, которых нет	6
Последний из Девяти	14
Действующие лица	15
Пролог	27
Часть первая	30
Глава первая	32
Глава вторая	40
Глава третья	47
Глава четвёртая	54
Глава пятая	62
Глава шестая	69
Глава седьмая	77
Глава восьмая	86
Глава девятая	93
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Не отдавай свету

Карта Эйрдана



Восемь, которых нет

как их рисовали на стенах храмов



Лиэна
Сны · Граница
Ей снились все спящие мира



Дейрон
Война · Спор
Спорил громче всех в Совете



Сивель
Жизнь · Рост
Держала чашу, из которой пьёт всё живое



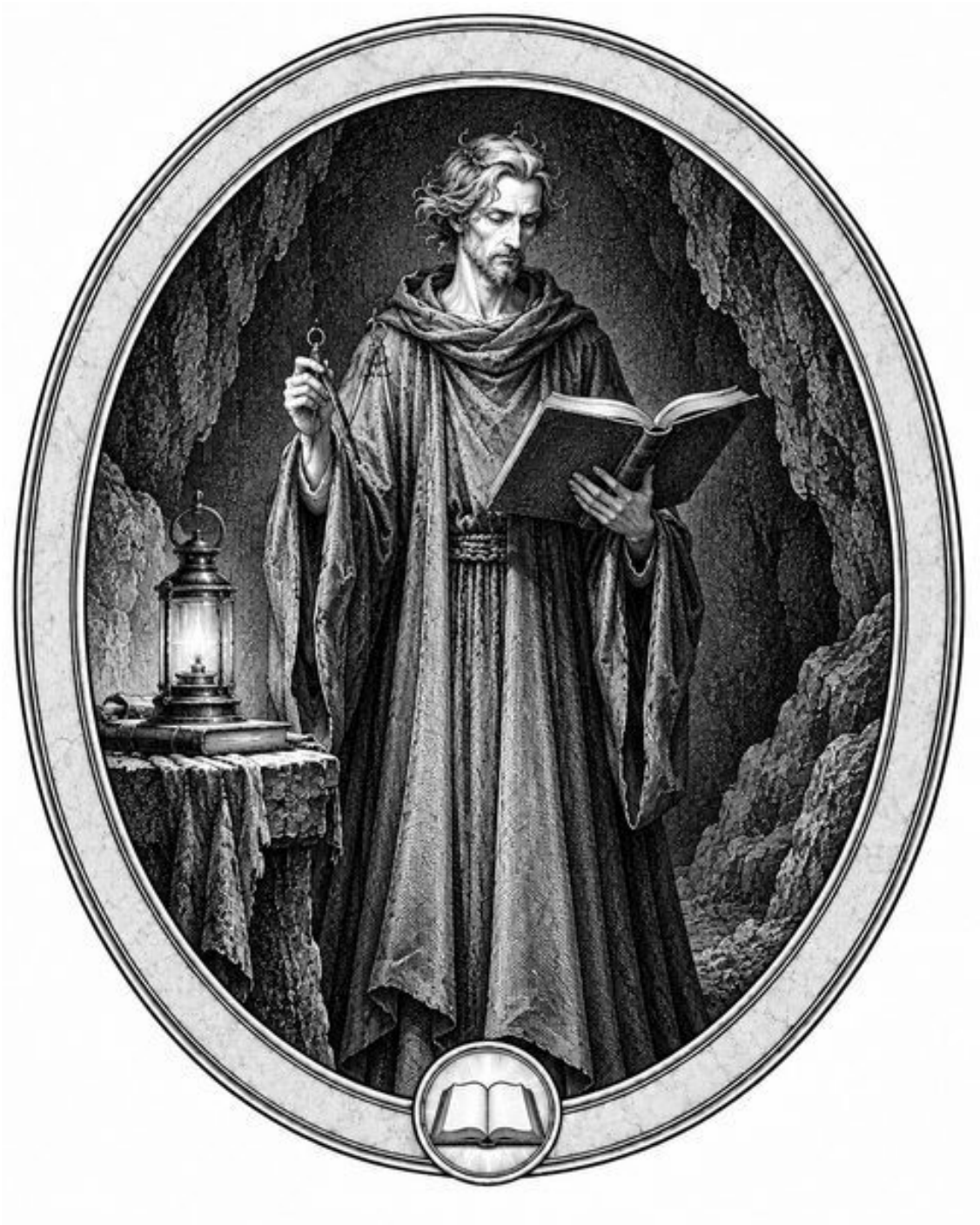
Грамнар
Земля · Основа
На нём держались материки



Ориан
Море · Течение
Знал, куда идти всякой воде



Астэр
Звёзды · Пространство
Расставлял звёзды и расстояния

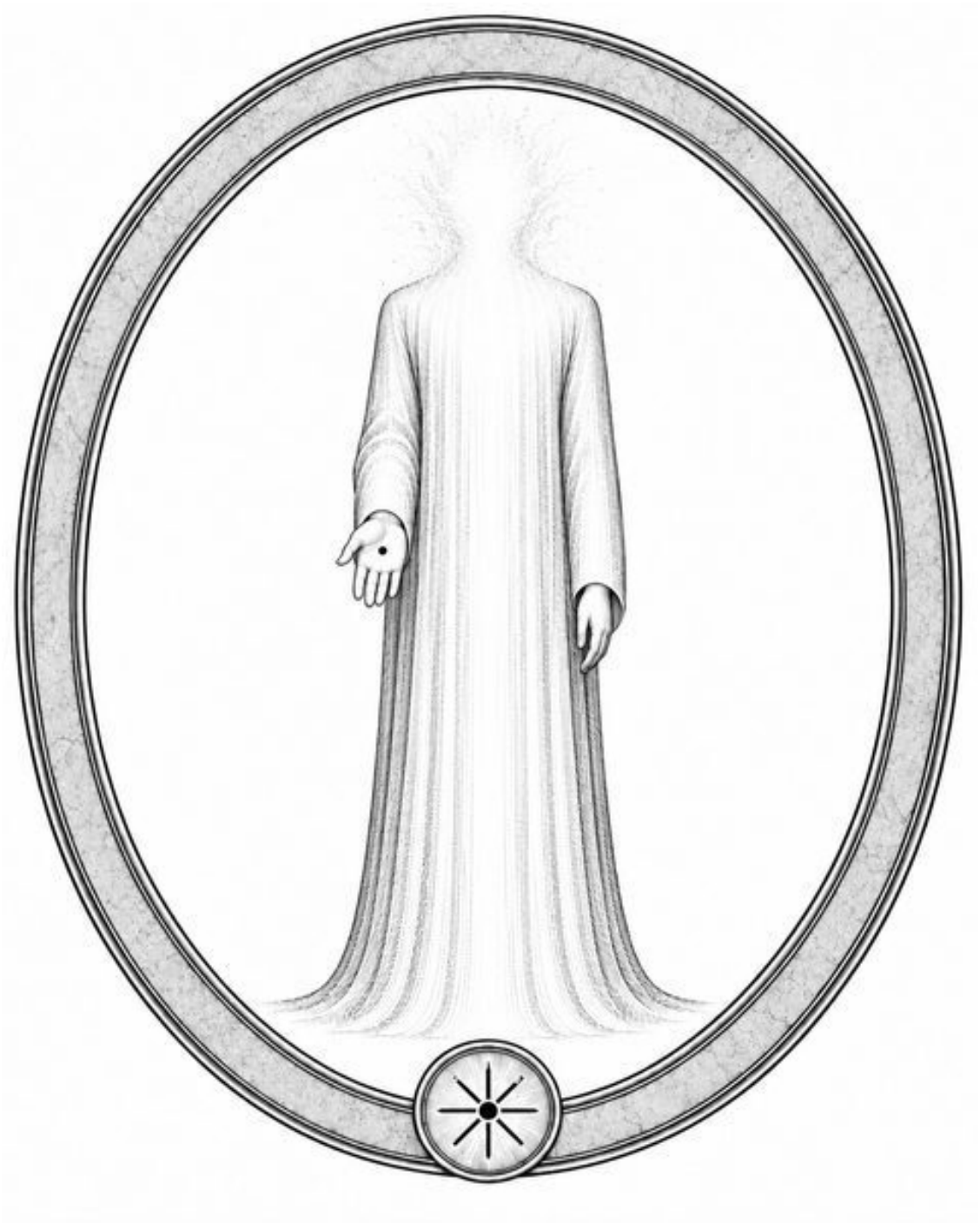


Иллен
Знание · Истина
Отвечал тому, кто правильно спросит



Морвен
Смерть · Переход
Ведёт мёртвых через реку

Последний из Девяти



Элиар
Солнце · Единство
Его свет видят все

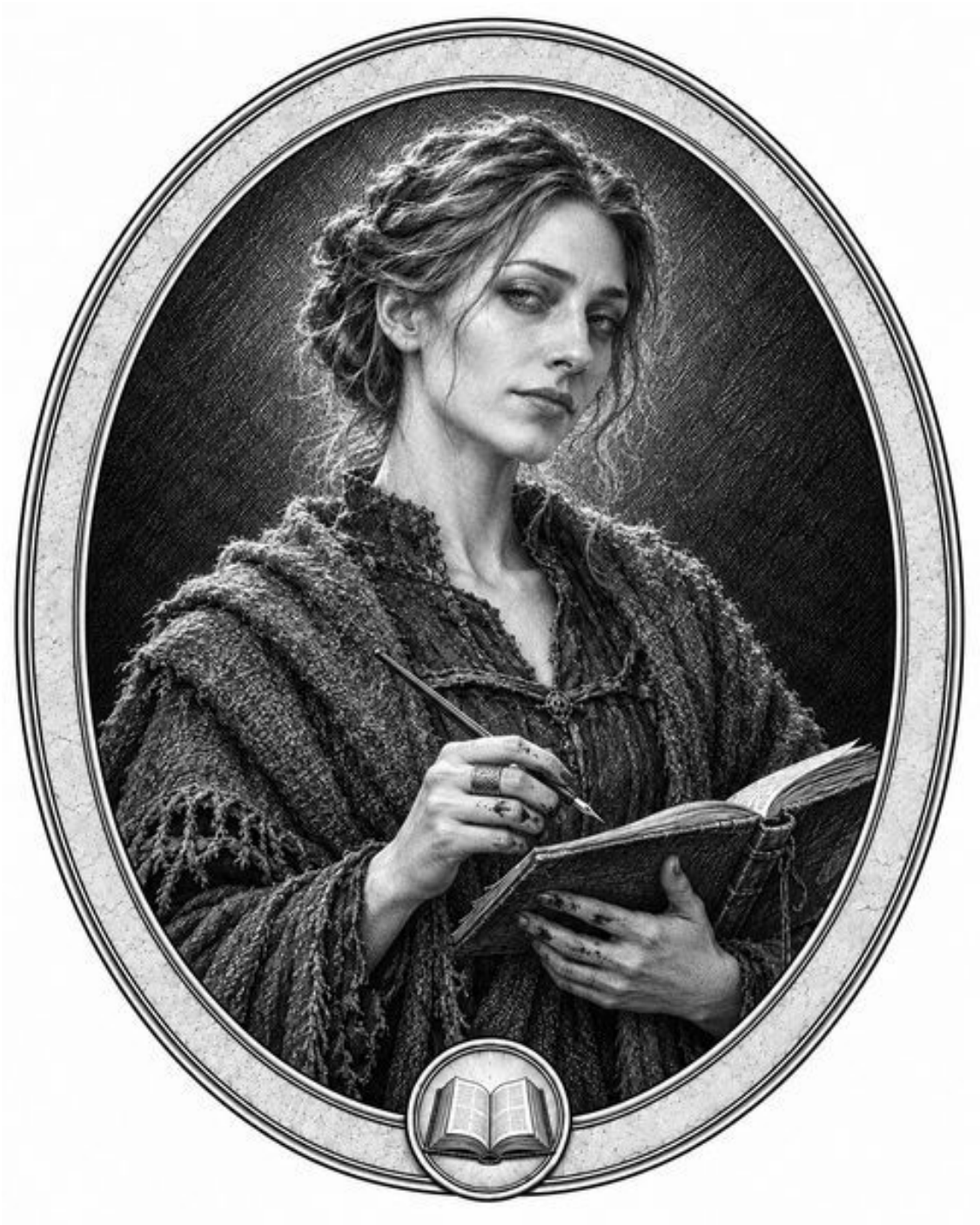
Действующие лица



Кассиан
послушник храма Перехода
Провожает мёртвых до порога



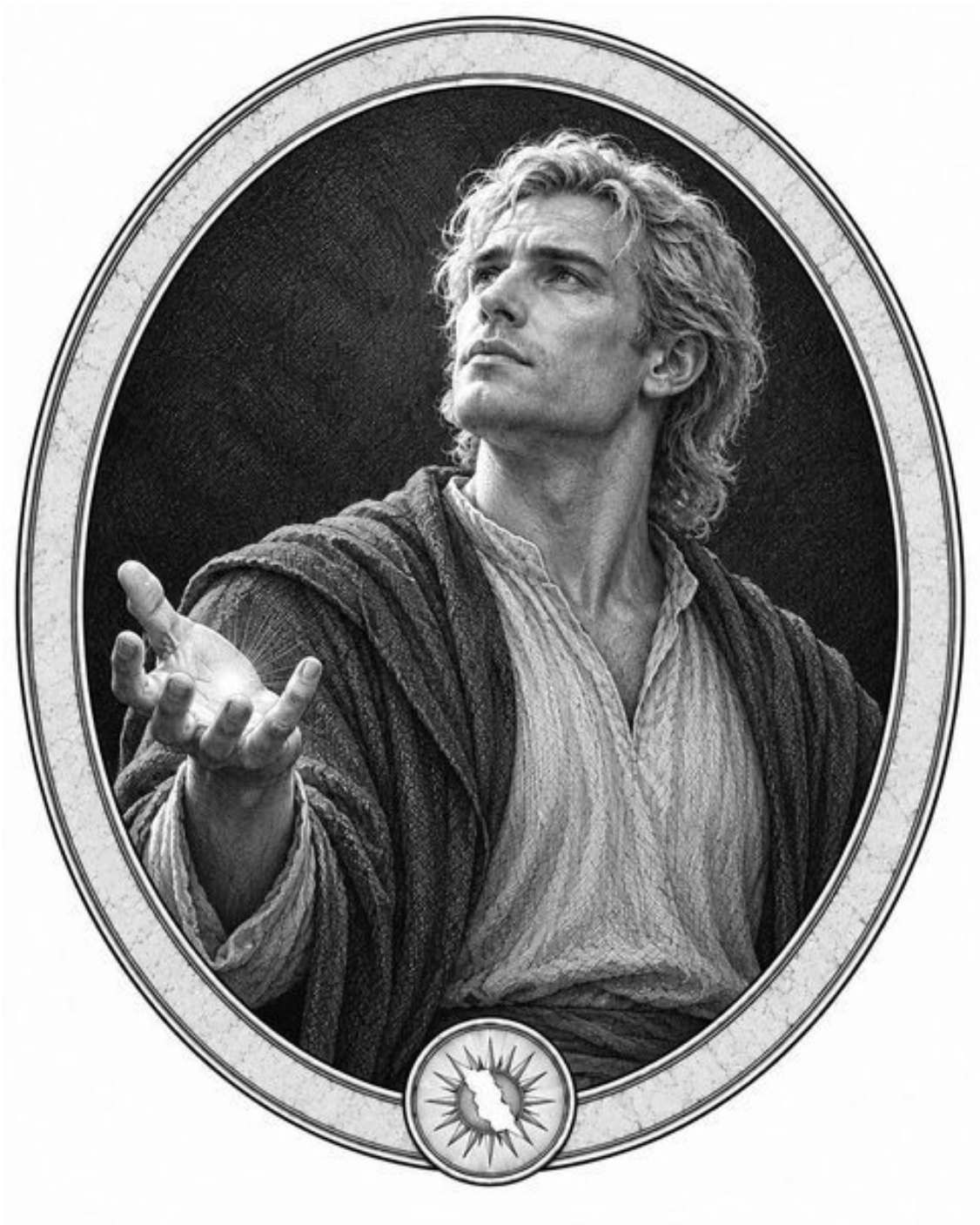
Лира
его младшая сестра
Научилась слышать, как растут её ногти



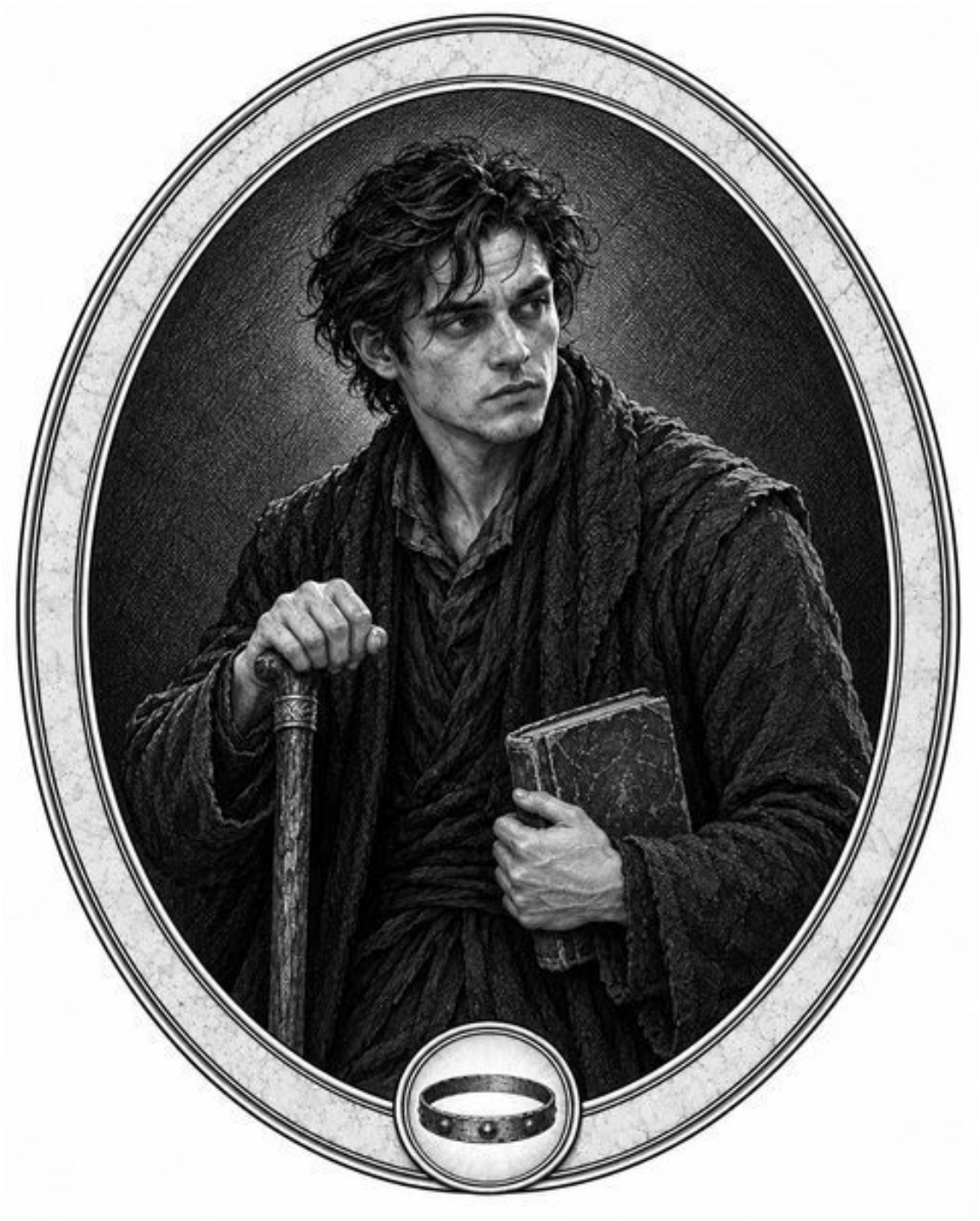
Ярина Соль
Сновидица, переписчица долгов
Толкует сны за медяк



Рена Тарвес и Тур
капитанша «Неверной» и её боцман
Смеётся громко, считает точно



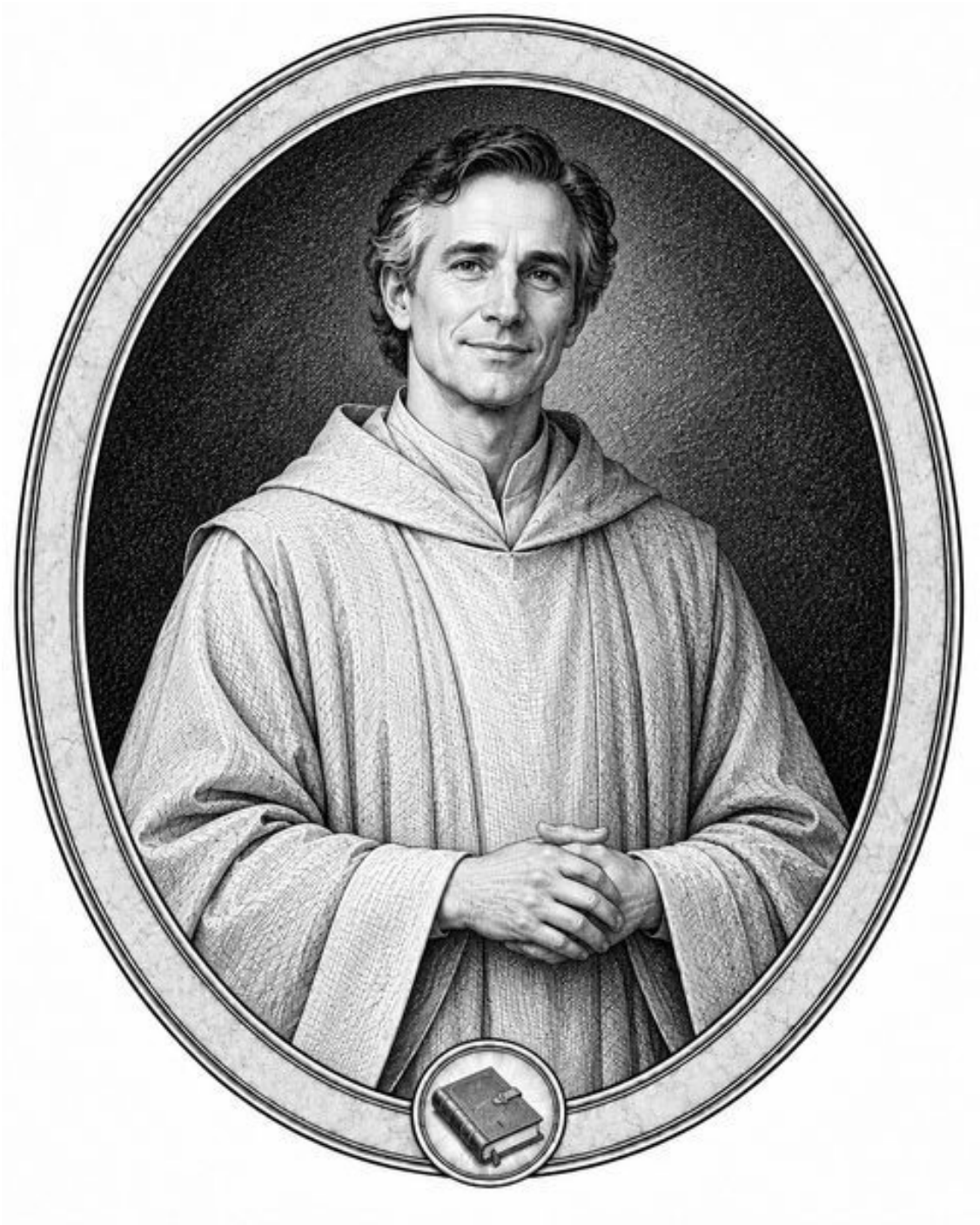
Сэр Ильяс
рыцарь Стражи Солнца
Верит, что спасает мир



Дарен
наследник Кордара
Читает всё до последней строки



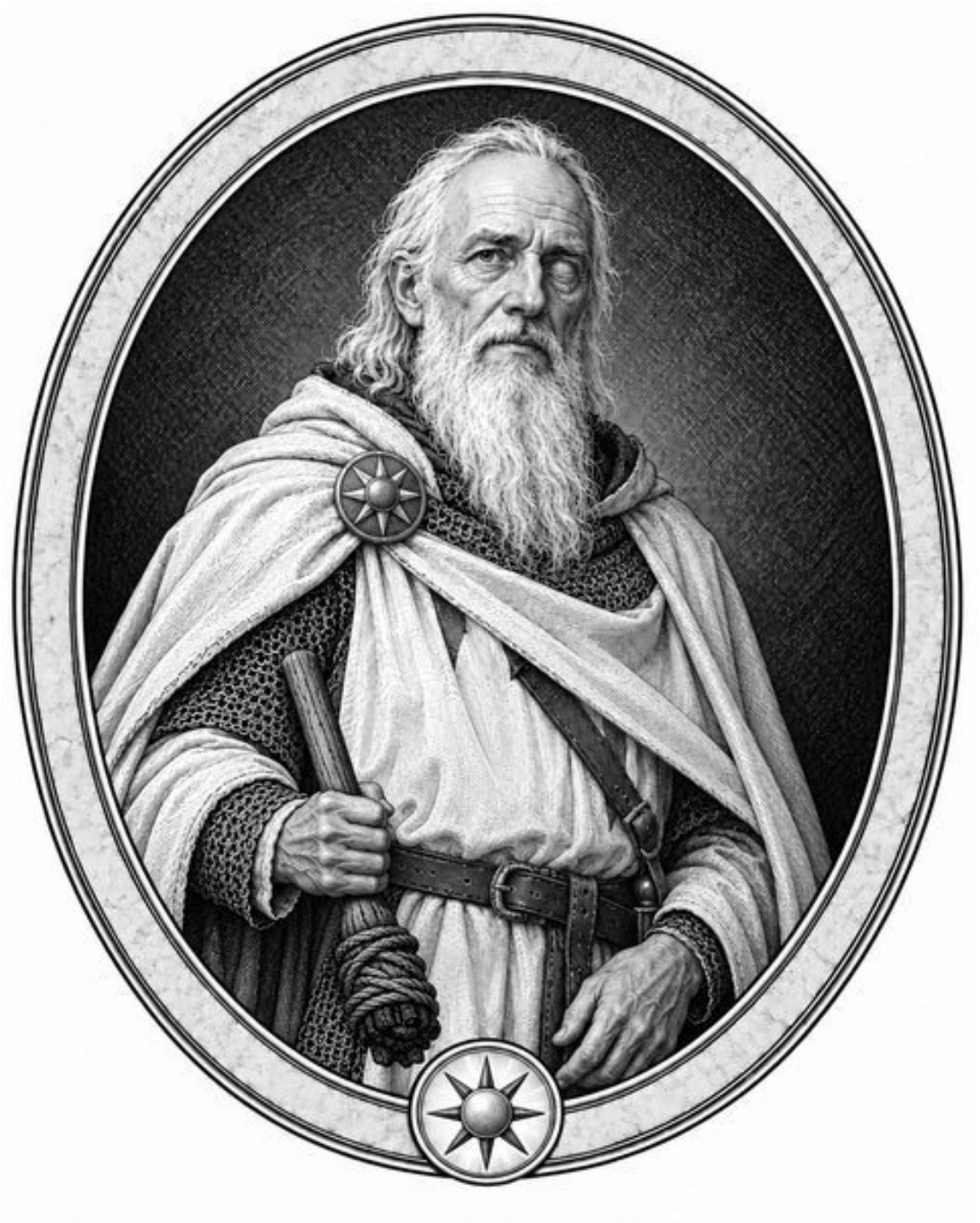
Отец Тальберт
маг Перехода, наставник Кассиана
Если заснёшь — пусть рядом будет вода



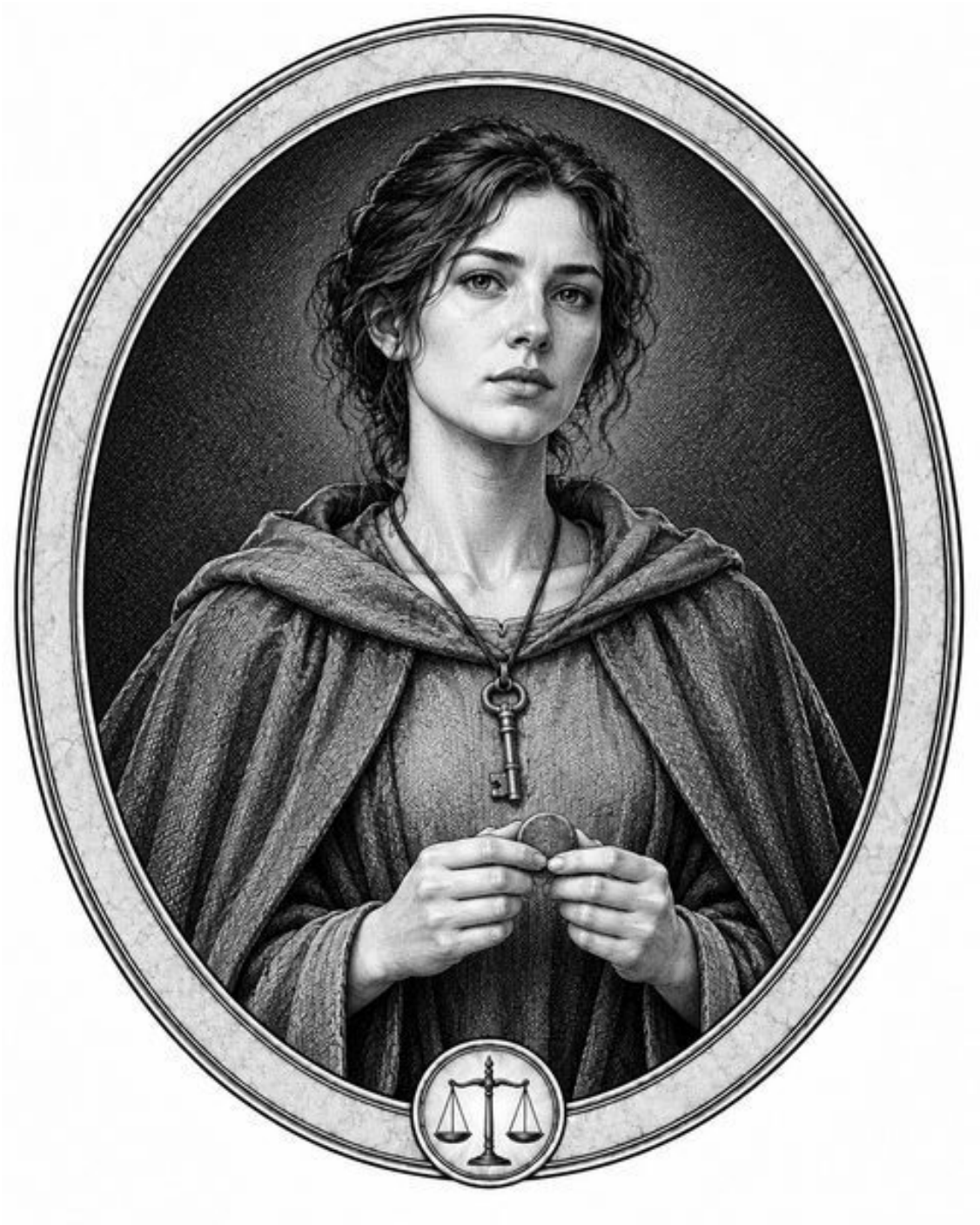
Магистр Северин Алей
советник двора Кордара
Рядом с ним всегда чуть теплее



Корвин
брат государя, полководец на Тиессе
Пятнадцать лет держит фронт



Первый страж Маттиас
глава Стражи Солнца
Выйдет последним



Илисса Вандерграф
посланница дома Вандерграф
Красные костяшки — что есть, чёрные — что должна



Ама
слепая старуха из Ордиса
Слушает камень ладонями

Пролог
Тёплая кость

Лира. Кордар, Нижний Вельд, ночь вспышки.

К третьей неделе болезни Лира научилась слышать, как растут её ногти.

Звук был тонкий, сухой, как скрип пера по пергаменту, и шёл он изнутри пальцев, оттуда, где кость переходит в кость. Днём его заглушали голоса, шаги матери за стеной, колокол храма Перехода, бивший к службам. Ночью оставался только он.

Ногти приходилось срезать утром и вечером. Мать делала это молча, тупыми портновскими ножницами, и складывала обрезки в чашку из-под молока, чтобы потом сжечь. Обрезки были серые, слоистые, как сланец. Целитель из храма Жизни, приходивший в первую неделю, сказал, что сжигать правильно, и больше не приходил. Его сила, объяснил он, только ускорит то, что уже идёт. Серая лихорадка не лечится ростом. Серая лихорадка и есть рост.

Лира лежала на спине и смотрела на свою руку поверх одеяла. В свете свечи кожа на тыльной стороне ладони была похожа на лишайник на старом камне: светлые разводы, круги внутри кругов, тонкие трещины, которые к утру становились глубже. Если не двигать пальцами, она почти ничего не чувствовала. Если двигать, кости ныли так, будто им было тесно.

Им и было тесно. Всё в ней росло без меры, как растут леса за рекой, о которых рассказывали возчики. Деревья, которые за одно лето проглатывают деревню вместе с колодцем. Лира никогда их не видела. Теперь ей казалось, что видела.

Кассиан спал, уронив голову на край кровати.

Он пришёл из храма на закате, ещё в серой рясе послушника, и сел на табурет, не снимая её. Сказал, что отец Тальберт отпустил его до утра. Это было неправдой: отец Тальберт отпускал его до утра уже девять ночей подряд, а значит, Кассиан просто перестал спрашивать. Лира не стала его ловить. Она ни разу не поймала брата на лжи, хотя он лгал плохо. Ей нравилось, что он вообще пытается.

Он держал её за руку, пока мог. Потом рука у него разжалась, и голова опустилась на одеяло, рядом с её бедром, и он задышал медленно и тяжело, как дышат люди, которые не спали по-настоящему много дней.

Лира смотрела на его затылок. Волосы у него были отцовские, тёмные и жёсткие, и на макушке торчал вихор, который не брала никакая вода. Ей хотелось протянуть руку и пригладить его, но рука была тяжёлой, а пальцы снова тихо скрипели изнутри, и она решила, что ничего, пусть торчит.

— Ты обещал, — сказала она шёпотом, не для того, чтобы разбудить.

Он обещал в тот вечер, когда целитель ушёл в последний раз и мать заплакала в сенях, думая, что её не слышно. Кассиан тогда сел на этот же табурет и сказал очень спокойно, тем голосом, каким, наверное, говорили в храме: что он послушник Перехода, что он учится этому три года, что он уже провожал людей до границы. Что это не страшно, если рядом кто-то есть. Что он будет рядом и проводит её сам, до самого порога, и дальше она пойдёт одна, но к тому времени ей уже не будет страшно.

— Ты же провожал старого Мартина, — сказала тогда Лира. — Мартин кричал.

— Мартин всю жизнь кричал, — ответил Кассиан. — Он и на рынке кричал.

Она засмеялась, и от смеха у неё заболели рёбра, и он испугался, и это было почти хорошо.

Теперь он спал, а граница была рядом. Лира знала это так же, как знают, что в соседней комнате открыли окно: по сквозняку. Сквозняк шёл не снаружи. Он шёл откуда-то из-под кровати, из-под пола, из того места внутри, где у людей обычно ничего нет. Пол под босыми ногами, если бы она сейчас встала, был бы холодным. Она откуда-то знала это совершенно точно, хотя ноги её лежали под одеялом и уже давно ничего не чувствовали.

Свеча на столе горела ровно. Пламя чуть клонилось к окну.

Потом оно перестало клониться.

Лира не сразу поняла, что изменилось. Звук исчез первым: не стало скрипа в пальцах, не стало дыхания Кассиана, не стало далёкой собаки, которая лаяла за огородами с самого заката. Тишина была не такая, как ночью. Ночная тишина всегда чем-то полна. Эта была пустой, как вычерпанный колодец.

Пламя свечи стояло неподвижно. Не горело, не дрожало, просто стояло, жёлтое, острое, как вырезанное из меди. Над ним в воздухе висела пылинка. Лира смотрела на неё долго и не могла понять, что с ней не так, пока не поняла: пылинка не падала.

Кассиан не дышал. Спина у него не поднималась. Лира хотела закричать, но горло было тяжёлым, как всё её тело, и только глаза двигались, и она повела ими к окну.

За окном не было ветра. Ветка яблони, которая всегда скреблась о ставню, застыла на полпути. Над крышами Нижнего Вельда, над храмом с его чёрным колоколом, над далёкими холмами небо было тёмное и ровное, и звёзды стояли, как им положено. А потом свет начал собираться.

Он не приходил откуда-то. Он стягивался отовсюду: из звёзд, из пламени свечи, из её собственных глаз, она почувствовала, как что-то тянет за самое дно зрачков. Светлые нити, тонкие, как волос, текли по небу к одной точке, высоко над холмами, и точка становилась ярче, ярче, и всё вокруг становилось темнее, потому что свет уходил туда. Мир, подумала Лира, пытается куда-то перейти. Весь. Целиком. Как человек, который встаёт с постели.

И тут она поняла, почему видит это. Все замерли. Мать за стеной, собака, Кассиан, пламя. Все, кроме тех, кто уже стоял на пороге. Она стояла на пороге. Пол под ногами, которых она не чувствовала, был холодный, как она и знала.

Кто-то был в комнате.

Он стоял между кроватью и окном, и свет, текущий к точке над холмами, обходил его, как вода обходит камень. Высокий. Плащ, капюшон, перчатки. Одежда как у богатого путника. Но под одеждой не было тела. Там, где должны были быть лицо и шея, медленно ворочался тёмный дым, густой, как дым над торфом, и ткань держала форму, потому что дым её держал.

Лира подумала, что должна бояться. Ей не было страшно. Кассиан обещал, что страшно не будет, и вот не было. Может быть, это и есть тот, кто приходит за людьми, когда их провожают. Может быть, Кассиан всё-таки успел.

Фигура опустилась на одно колено у кровати. Капюшон повернулся к Кассиану, и она смотрела на него, на его вихор, на его руку, разжатую на одеяле. Смотрела долго, если в остановившемся мире бывает «долго». Лире показалось, что фигура узнала его. Что она знает, кто он такой, лучше, чем знает сам Кассиан.

Потом капюшон повернулся к ней.

Глаз не было. Был дым, и в глубине дыма тёмное становилось ещё темнее, как в колодце, когда наклоняешься и долго смотришь вниз.

— Прости меня, — сказал он.

Голос был тихий и очень усталый. Не мужской и не женский. Так мог бы говорить старик, который всю жизнь сторожил переправу и сам ни разу не переправился.

— Мне нужно спрятать это там, где он не станет искать. У тех, кто уходит, не ищут.

Он взял её руку. Перчатка была холодной, но под ней ничего не было, просто холод, и Лира почувствовала, как её серые, тесные, скрипящие пальцы разжимаются сами собой, без

боли, впервые за три недели без боли. Он положил что-то ей в ладонь и сомкнул её пальцы поверх.

Это было тёплое. Маленькое, лёгкое, длиной с её мизинец. Гладкое, с отверстиями, как у дудочки, которую отец когда-то вырезал ей из бузины. Тёплое так, как бывает тёплым горло у птицы, если взять её в руки: живым теплом, которое бьётся.

— Держи, — сказал он. — Не отдавай свету.

Лира хотела спросить: какому свету? Тому, что над холмами? Свече? Но губы не двигались, а точка над холмами стала такой яркой, что на неё нельзя было смотреть, и фигура встала, и Лира увидела, что дым под капюшоном редеет. Свет обходил его, но теперь и его тянуло туда же, к точке, нитями, тонкими, как волос. Он таял. Так тают люди, которых провожают, подумала Лира. Так, наверное, таю и я.

— Его зовут Кассиан, — сказала она. Или подумала. В остановившемся мире это было одно и то же.

— Я знаю, — ответил дым. — Он придёт.

Потом свет ударил.

Звука не было. Был белый, полный, со всех сторон сразу, и в этом белом Лира перестала видеть комнату, окно, свечу, брата, и почувствовала только две вещи: холод под босыми ногами и тепло в ладони. Она шагнула. Порог был прямо перед ней, и за ним было что-то широкое и тихое, похожее на реку в тумане, и она шагнула и не перешла. Тепло в ладони держало её, как держит за руку человек, который не хочет отпускать. Она стояла на самом пороге, одной ногой там, другой нигде, и не могла ни вперёд, ни назад.

Белое схлынуло.

Пламя свечи качнулось и снова потянулось к окну. Ветка яблони скребнула ставню. За огородами залаяла собака, сбившись, как будто забыла, на что лаяла. Где-то в Нижнем Вельде заплакал ребёнок, потом другой, потом заскрипели двери, и чей-то голос спросил в темноте: «Что это было? Ты видел? Что это было?»

Кассиан вздрогнул во сне, но не проснулся. Он дышал медленно и тяжело, уронив голову на одеяло, рядом с её бедром. Вихор на макушке торчал.

Лира лежала и смотрела на него. Пальцы её больше не скрипели. Рука на одеяле была серой, неподвижной и сжатой в кулак, и внутри кулака было тепло.

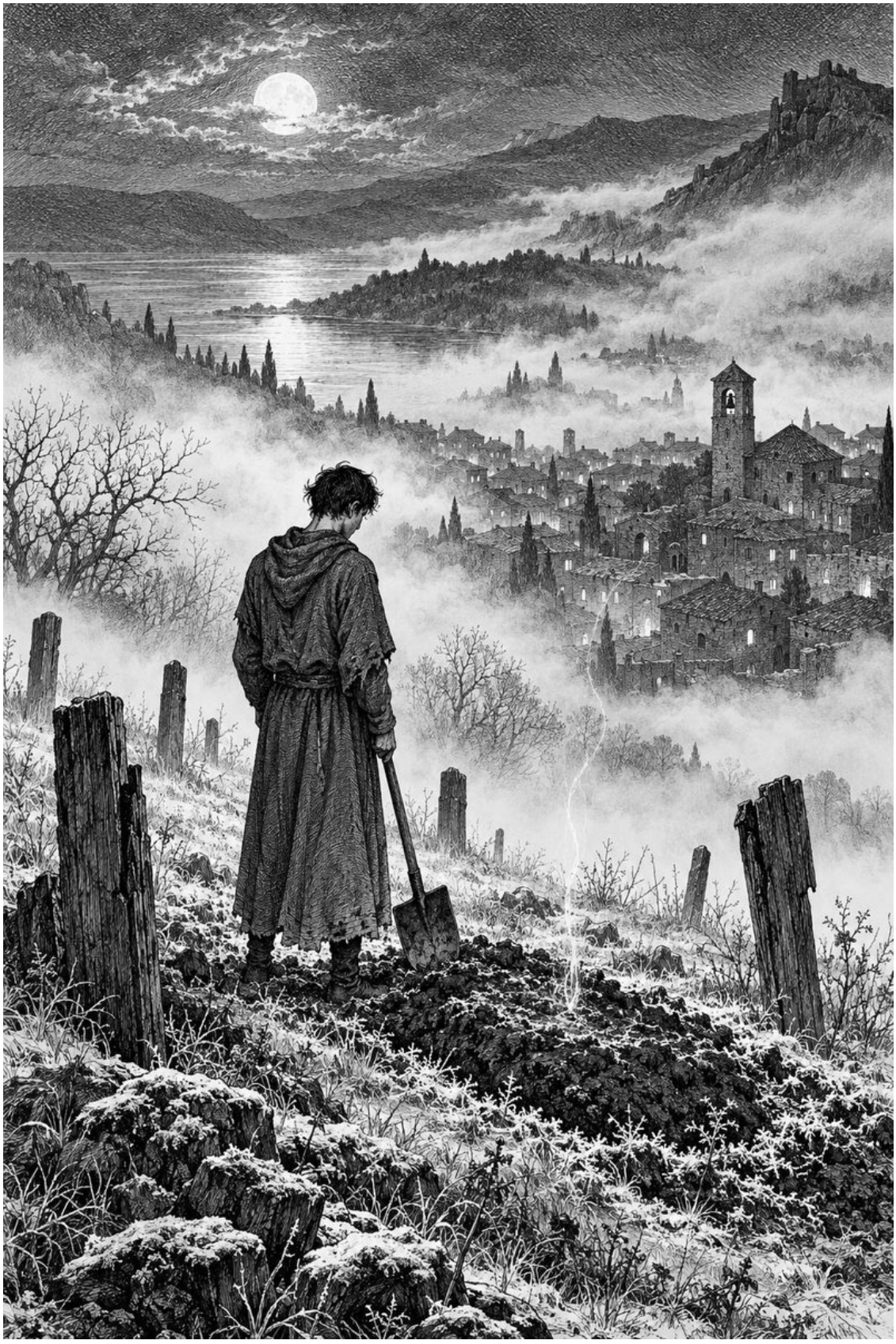
Она хотела разбудить его. Хотела сказать: смотри, ты успел, ты всё-таки успел, тут кто-то был. Хотела сказать: я стою на пороге, а дальше не идётся, позови меня обратно или проводи до конца, ты же обещал.

Но губы не двигались, а холод под ногами поднимался всё выше.

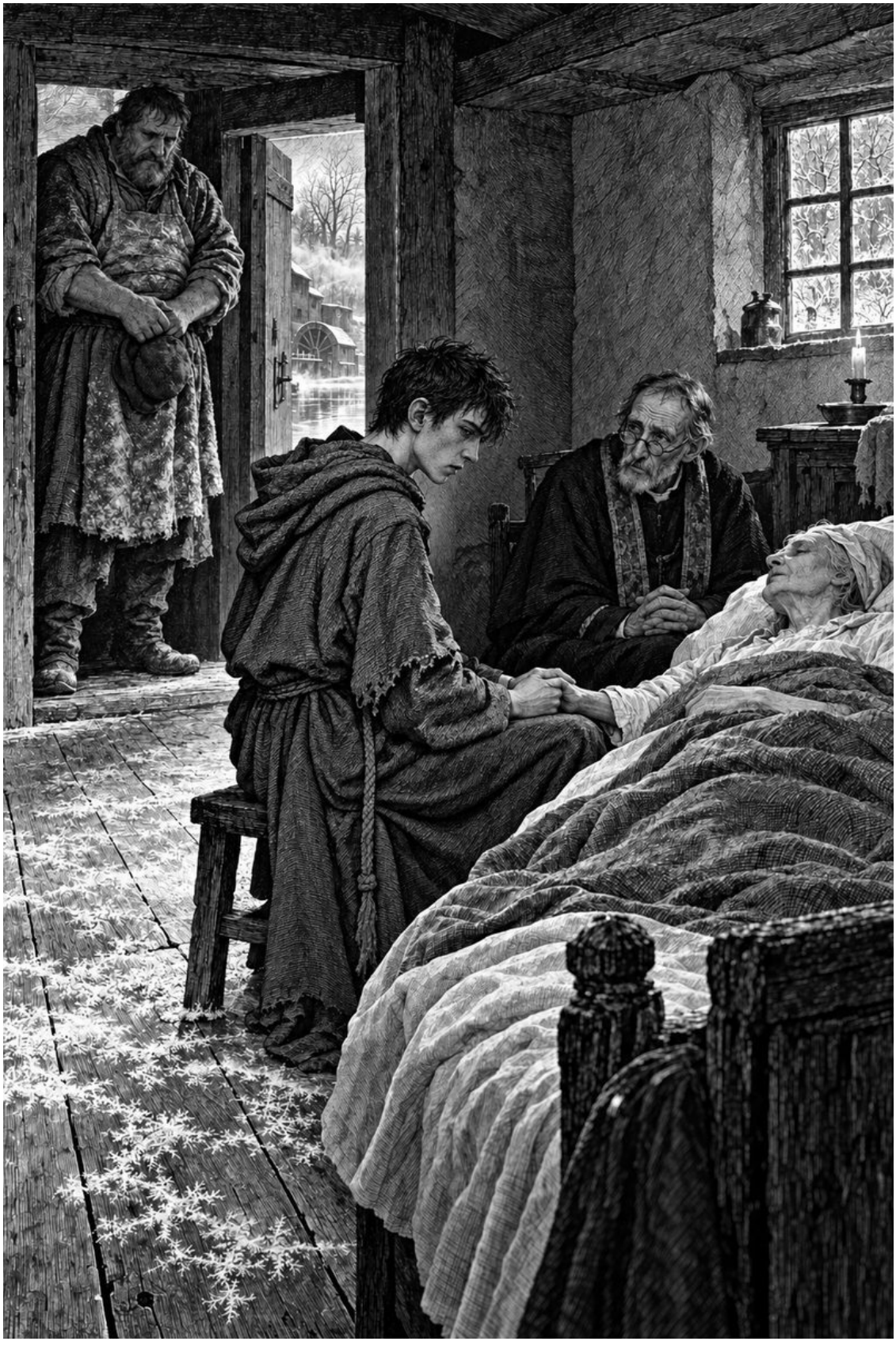
Кассиан спал. Он обещал проводить её до самой границы.

Он проспал.

Часть первая
Дыра в мире



Глава первая
Порог близко



Кассиан. Нижний Вельд, храм Перехода. Двадцать третий день после вспышки.

Агата Мельничиха умирала третий день и всё никак не могла решиться.

Так говорил отец Тальберт, и Кассиан раньше думал, что это просто манера речи, какой у старых жрецов много. *Не может решиться. Стоит у порога и смотрит назад.*Теперь он знал, что Тальберт говорил буквально.

Дом мельника стоял у запруды, и в комнате, где лежала Агата, пахло мокрым деревом, мукой и камфорой. Окно было завешено. На подоконнике горела лампа, рядом стояла чашка с отваром, который никто уже не пил. Мельник сидел на лавке у двери, огромный, белый от муки даже сегодня, и держал шапку обеими руками, будто её могли отнять.

Кассиан стоял у изголовья. Тальберт сидел рядом с кроватью на табурете, низко наклонившись к умирающей, и говорил с ней тем голосом, которым говорил всегда, спокойно и немного скучно, как читают вслух список покупок.

— Мельница стоит, Агата. Вода идёт. Петер справится. Ты слышишь, как вода идёт?

Агата не отвечала. Глаза у неё были закрыты, рот приоткрыт, и дыхание шло редко и с усилием, будто каждый вдох нужно было поднимать на крышу.

Кассиан положил ладонь на спинку кровати и прислушался.

Это нельзя было объяснить тем, кто не учился. Первые полгода в храме Кассиан тоже думал, что старшие говорят красиво и ничего за этим нет. Граница. Порог. Переход. Слова для похорон. Потом однажды, на третьих своих проводах, у постели старого бочара, он почувствовал это сам: как будто где-то очень далеко, за много комнат отсюда, открыли окно, и по полу потянуло холодом. Далёким, едва заметным. Так ощущалась граница: не место, а сквозняк. Чем ближе человек к ней подходил, тем сильнее тянуло. Хороший жрец Перехода слышал этот сквозняк и мог сказать, сколько человеку осталось, точнее любого лекаря. Очень хороший мог встать между человеком и сквозняком и подержать его, пока работают целители. Тальберт мог. Кассиан до сих пор нет.

Так было до вспышки.

Сейчас граница была не за много комнат. Она была прямо здесь, под досками пола, под кроватью, под ногами у Кассиана, и тянуло от неё так, что ему хотелось переступить с ноги на ногу, как на льду. Он не переступал. Он стоял и смотрел на свои ботинки и думал, что это не может быть так близко. Агата ещё жива. Она дышит. До порога должно быть далеко.

А порог был под ним.

— Агата, — сказал Тальберт. — Петер здесь. Скажи ему, если хочешь что-то сказать.

Мельник на лавке дёрнулся и сжал шапку сильнее.

Агата открыла глаза. Они были мутные, светлые и смотрели не на Тальберта, а мимо него, на Кассиана. Она смотрела так, будто узнала его, хотя видела всего раз или два, когда приносила в храм муку на праздник.

— Мальчик, — сказала она хрипло. — Тут холодно.

Тальберт повернул голову и посмотрел на Кассиана. Быстро, коротко, поверх очков. Потом снова наклонился к Агате.

— Холодно, потому что окно открыто, — сказал он. — Хочешь, закроем?

— Не окно. — Она облизала губы. — Пол. Под ним. Мальчик стоит, и там холодно.

Мельник на лавке встал. Шапка упала на пол.

— Отец, — сказал он. — Отец, что она…

— Сядь, Петер, — сказал Тальберт, не оборачиваясь. — Она бредит. Это бывает.

Это была ложь, и Кассиан понял, что Тальберт знает, что это ложь, потому что Тальберт не лгал никогда, а сейчас голос у него на мгновение стал выше.

Мельник сел.

— Кассиан, — сказал Тальберт ровно. — Возьми её руку.

Он взял. Рука у Агаты была лёгкая, сухая и горячая, и, как только он сжал её, сквозняк из-под пола хлынул сквозь него, как вода через пробитую плотину. Кассиан чуть не отпустил. Ему стало так холодно, что заныли зубы. И в этом холоде он вдруг ясно, как в ясный день видишь дорогу до самого поворота, увидел, где Агата стоит: у самого порога, в полушаге, спиной к нему, и смотрит назад. На запруду, на мельницу, на мужа с его шапкой. Она не боялась. Ей просто не хотелось уходить, пока вода идёт.

— Вода идёт, — сказал Кассиан. Он не собирался этого говорить. Слова сами вышли, тем же тоном, каким говорил Тальберт, спокойно и чуть скучно. — Мельница стоит. Петер справится.

Агата выдохнула. Долго, со свистом, как выпускают воздух из мешка.

Потом шагнула.

Кассиан почувствовал это ладонью. Рука в его руке не стала легче или холоднее, ничего такого, о чём пишут в балладах. Просто сквозняк из-под пола вдруг иссяк, как будто кто-то тихо прикрыл дверь в дальней комнате. И стало очень тихо. Даже вода за окном, показалось ему, на миг шумела тише.

Он отпустил руку и сделал шаг назад. Ноги у него дрожали.

Мельник на лавке смотрел на жену и не двигался. Тальберт поправил очки на проволочной дужке. Потом встал, медленно, держась за колено, подошёл к Петеру и положил ладонь ему на плечо.

— Она ушла легко, — сказал он. — Это правда, Петер. Я провожаю людей сорок лет. Она ушла легко.

Мельник кивнул. Потом наклонился, поднял с пола шапку, посмотрел на неё и заплакал, некрасиво, громко, как плачут большие мужчины, которые не умеют этого делать.

* * *

Они шли обратно в храм по гребню плотины. Был конец дня, низкое солнце било в спину, и их тени тянулись далеко вперёд, по мокрым доскам, по траве на откосе, по воде. Тальберт шёл медленно, на каждом шагу стуча палкой, и молчал. Кассиан нёс сумку с маслом и свечами, которыми так и не воспользовались.

— Сколько раз ты провожал сам? — спросил Тальберт, когда плотина кончилась и началась дорога к городу.

— Сам — ни разу.

— А сегодня?

Кассиан не ответил.

— Сегодня ты провожал сам, — сказал Тальберт. — Я сидел рядом и смотрел. Я её не держал. Я её даже не нашёл. Я всю жизнь нахожу людей у порога, Кассиан, и сегодня я её не нашёл. А ты нашёл и проводил. С первого раза. И она тебя увидела.

— Она бредила.

— Ты сам в это веришь?

Кассиан не верил.

Они прошли мимо кладбищенской ограды. Кассиан не стал туда смотреть. Он не смотрел туда двадцать два дня, с тех пор как засыпали могилу, и знал, что, если посмотрит, остановится, а если остановится, Тальберт будет стоять рядом и ждать, и не скажет ни слова, и от этого будет хуже всего.

Он смотрел на дорогу.

Дорога была знакомая до последней выбоины. По ней он водил Лиру к реке, когда она ещё могла ходить: летом, по утрам, пока не жарко, медленно, потому что ноги у неё уже тогда болели и она ступала осторожно, как по льду. У третьей ивы она всегда останавливалась и говорила, что дальше пусть он несёт её на закорках, она устала. Она не уставала. Она просто любила ехать высоко и смотреть поверх заборов. Тогда она была ещё лёгкая. Он сажал её на спину, она держалась за его шею и рассказывала, кто в каком доме с кем поссорился, потому что про Нижний Вельд знала больше, чем староста, хотя никуда не выходила дальше реки. Потом она перестала ходить к реке. Потом перестала вставать. Потом он носил её уже только к окну, чтобы она видела яблоню.

Третья ива стояла на месте. Кассиан прошёл мимо и не повернул головы.

— Как ты спишь? — спросил Тальберт.

— Нормально.

— Врёшь, — сказал Тальберт спокойно. — Ты плохо врёшь, мальчик. Всегда плохо врал. Ты спишь по два часа, а потом лежишь и слушаешь. Я знаю, потому что сам лежу и слушаю.

Кассиан посмотрел на него. Тальберту было за шестьдесят. Он был сухой, сутулый, с длинным лицом и седой щетиной, которую брил раз в три дня, и в очках, которые чинил проволокой. Кассиан знал его три года, с тех пор как мать привела его в храм за руку, потому что после смерти отца он начал видеть, как умирают соседи, раньше, чем они умирали. Тальберт тогда посмотрел на него поверх тех же очков, сказал «ну, заходи» и больше ни о чём не спрашивал.

— Что ты слушаешь? — спросил Кассиан.

Тальберт долго не отвечал. Они дошли до первых домов Нижнего Вельда. На крыльце пекарни сидели две женщины и лущили горох и при виде рясы замолчали и наклонили головы. Тальберт кивнул им. Когда они отошли, он сказал:

— Колокол.

Кассиан ждал.

— Ты не замечал? — Тальберт остановился и посмотрел на него. — С той ночи колокол звучит иначе. Ниже. На полтона, может, меньше. Брат Гервин говорит, что треснула бронза от холода. Сестра Оделия говорит, что это знак. Брат Гервин и сестра Оделия теперь каждый вечер спорят об этом за ужином, так что ужинаю я на кухне. — Он помолчал. — Это не бронза.

— А что?

— Не знаю. — Тальберт пошёл дальше. — Может, бронза. Я старый человек, Кассиан, у меня самого внутри всё на полтона ниже. Но у порога сегодня было слишком холодно. И ты стоял слишком близко. И я делаю это ремесло дольше, чем ты живёшь на свете, а ты три года, и сегодня ты сделал его лучше меня.

Он сказал это без обиды. Тальберт вообще никогда ни на кого не обижался. Он сказал это так, как говорят о погоде, которая испортилась.

Кассиан хотел спросить, что значит «слишком близко». Близко к чему. Но Тальберт уже заговорил о другом: о том, что в кладовой кончается лампадное масло, что Мика опять забыл закрыть курятник и лиса унесла рябую, что к осени надо перекрыть крышу над ризницей, а денег на это нет и не будет. Он говорил ровно и долго, и Кассиан понял, что старик нарочно заговаривает дорогу, чтобы не пришлось говорить о главном.

— Не говори об этом брату Гервину, — добавил он. — И сестре Оделии тоже.

* * *

На площади перед храмом стоял человек в белом.

Кассиан увидел его издали: белое пятно на фоне тёмной стены, высоко, на ступенях бывшей ратуши. Вокруг стояли человек двадцать. Ещё неделю назад на этих ступенях продавали лук.

Человек говорил громко, хорошо поставленным голосом, и слова долетали до края площади:

— …восемь! Восемь из Девяти ушли, братья и сёстры, и кто знает это лучше вас? Вы видели свет той ночью. Все видели. Свет собрался в одну точку. Подумайте, что это значит. Подумайте! Не рассеялся — собрался! Остался один, кто держит небо, и вы все видели, как он держит!

Кто-то в толпе крикнул: «А Морвен?» Человек в белом повернулся на голос и улыбнулся так, будто ждал этого вопроса.

— Морвен держит мёртвых, брат. А кто держит живых?

Толпа загудела. Тальберт замедлил шаг, глядя на проповедника, и лицо у него было странное, Кассиан не сразу понял какое. Потом понял: так Тальберт смотрел на опухоль, когда она была уже слишком большой, чтобы резать.

— Солнечная вера, — сказал Тальберт тихо. — Две недели назад у нас о ней и не слышали.

— Он говорит, что Морвен умер? — спросил Кассиан.

— Он говорит, что живые теперь принадлежат Элиару. Это не одно и то же. — Тальберт пошёл к храму. — Пока.

Кассиан посмотрел на проповедника ещё раз. Тот поднял руки, и рукава его белого одеяния упали до локтей, и солнце, низкое, вечернее, вдруг осветило его всего, и площадь, и стену за ним, так ярко, что Кассиан прищурился. Когда он открыл глаза, человек на ступенях уже говорил о чём-то другом, а солнце было как солнце.

Он догнал Тальберта у ворот.

* * *

Храм Перехода в Нижнем Вельде был маленький и старый, из тёмного камня, с низкой колокольней и садом, где росли только травы для отваров. В нём жили семь человек: Тальберт, брат Гервин, сестра Оделия, трое послушников помоложе Кассиана и сам Кассиан. Он мог бы ночевать дома. До дома было десять минут ходьбы. Он ночевал в храме двадцать две ночи подряд.

Ужин был на кухне, как и обещал Тальберт. Похлёбка, хлеб, лук. Из трапезной сквозь стену доносились голоса: высокий, ломкий голос сестры Оделии и низкий, медленный голос брата Гервина. Слов было не разобрать. Тальберт ел молча, макая хлеб в похлёбку и не поднимая глаз.

Кассиан не ел. Он сидел над миской и смотрел, как по похлёбке плывёт кружок жира.

Голоса за стеной смолкли. Потом скрипнула дверь, и на кухню вошла сестра Оделия.

Она была маленькая, худая, с острыми плечами и коротко остриженными седыми волосами, которые торчали надо лбом, как перья у встрёпанной птицы. Двигалась она всегда быстро, будто куда-то опаздывала, и сейчас тоже прошла к очагу так стремительно, что огонь качнулся. Налила себе кипятку из котла. Обернулась.

— Мельничиха, — сказала она. — Петеров мальчишка прибегал. Говорит, мать ушла легко. Говорит, мать перед уходом говорила с послушником.

Тальберт продолжал есть.

— Агата бредила, — сказал он. — Это бывает.

— Мальчишка говорит, она сказала, что под послушником холодно. — Оделия смотрела на Кассиана, не на Тальберта. Глаза у неё были светлые, почти прозрачные, и в них было что-

то, от чего Кассиану захотелось отодвинуться вместе с табуретом. Не злость. Жадность. Так смотрят на колодец в засуху. — Под тобой холодно, Кассиан?

— Сестра, — сказал Тальберт.

— Я спрашиваю его, а не тебя.

— А я отвечаю за него, пока он мой ученик.

В дверях появился брат Гервин. Он был высокий, тяжёлый, с широким, гладко выбритым лицом и руками кузнеца, хотя никогда в жизни не держал молота. Он остановился на пороге кухни, не входя, как останавливаются на пороге чужого дома.

— Оделия считает, что колокол звонит иначе, потому что наш бог подаёт знак, — сказал он ровно. — Теперь она будет считать, что знак подаёт послушник. Завтра она найдёт знак в похлёбке.

— А ты считаешь, что треснула бронза, — сказала Оделия, не оборачиваясь. — И что звёзды той ночью собрались в точку, потому что треснуло небо.

— Я считаю, что наше дело — провожать, — сказал Гервин. — До порога. Не дальше. Мёртвые принадлежат Морвену, а не нам, не знакам и не послушникам, которые плохо спят. — Он посмотрел на Кассиана, впервые за вечер, и взгляд у него был тяжёлый, но без злобы. Так смотрит пастух на телёнка, который отбился от стада: ещё не беда, но уже забота. — Если тебе холодно, мальчик, надень вторую рясу. А если холодно у порога — скажи отцу Тальберту, а не Агате Мельничихе.

Он повернулся и ушёл. Его шаги долго звучали в коридоре.

Оделия допила кипяток, поставила кружку на край очага и пошла к двери. У порога остановилась.

— Наш бог не умер, Кассиан, — сказала она тихо и очень уверенно, как говорят о вещи, которую видели собственными глазами. — Что бы ни кричали на площади. Он ушёл куда-то и что-то оставил. И кто-то из нас это найдёт.

Дверь за ней закрылась.

Тальберт доел похлёбку. Отодвинул миску. Посидел, глядя на огонь.

— Вот поэтому, — сказал он наконец, — я и ужинаю на кухне.

— Мать приходила, — сказал Тальберт чуть погодя, не поднимая глаз. — Утром. Спрашивала, когда ты вернёшься домой.

— Что ты ей сказал?

— Сказал, что спрошу у тебя.

— Я не знаю.

— Я ей так и передам. — Тальберт вытер миску куском хлеба. — Она там одна, Кассиан. Это не упрёк. Ты взрослый, и я тебе не отец. Я просто говорю, что она там одна, а ты здесь один, и до дома десять минут.

Кассиан встал.

— Я пойду лягу.

Тальберт кивнул, не глядя на него.

— Если будешь лежать и слушать, — сказал он в спину, — слушай внимательно. И утром расскажи мне, что услышал. Мне одному. Хорошо?

* * *

Келья у Кассиана была узкая, как пенал, с одним окном под самым потолком. Через это окно было видно полоску неба и край колокольни. Он лёг не раздеваясь, на спину, и смотрел на эту полоску, пока она не стала из синей серой, а из серой чёрной.

Спать он не собирался. Он теперь никогда не собирался спать. Он ложился и ждал, пока сон придёт сам и возьмёт его на час или на два. Потом просыпался, рывком, всегда одинаково: с

колотящимся сердцем и с чувством, что опоздал. Куда опоздал, он знал. Он ни разу не позволял себе подумать об этом словами.

Сегодня сон не пришёл вовсе.

Вместо сна пришёл сквозняк.

Сначала Кассиан решил, что это остаток того, что было у мельничихи. Холод у порога не уходит сразу. Тальберт говорил, что после тяжёлых проводов он сам иногда сутки ходит с ледяными ногами. Кассиан лежал, чувствуя холод в ступнях, и ждал, когда тот рассосётся.

Холод не рассасывался. Он тянул.

Не из-под пола, как у Агаты. Сбоку. С юга, оттуда, где за стеной храма, за садом, за переулком начинался склон, а на склоне стояла ограда с чугунной калиткой. Тянуло ровно и настойчиво, как тянет из щели под дверью, когда в доме где-то открыто окно и сквозняк ищет выход. Это было не похоже ни на одни проводы, которые Кассиан знал. На проводах сквозняк шёл к человеку. Сейчас человека не было. Был только сквозняк, и он шёл к тому месту, куда Кассиан двадцать два дня не смотрел.

Кассиан сел на кровати.

Он сказал себе, что это ничего. Что это горе, которое ищет, за что зацепиться, Тальберт предупреждал. Что у человека, который плохо спит три недели, начинает тянуть не туда. Что надо лечь и закрыть глаза, а утром рассказать Тальберту, и Тальберт посмотрит поверх очков и скажет «ну что ж», и это будет то, что нужно.

Колокол на колокольне ударил один раз. Полночь.

Кассиан услышал то, о чём говорил Тальберт: звук был ниже. Не намного. Чуть-чуть, на волос. Но он знал этот колокол три года, он сам бил в него по праздникам, и этот звук был не тот. Как будто колокол звонил не здесь, а немного дальше. Немного по ту сторону.

И сквозь этот звук, в самом его конце, там, где медь уже затихает, Кассиан услышал что-то ещё.

Не голос. Голосов у порога не бывает, это он знал твёрдо, это знали все. Но там, в конце звука, было что-то вроде дыхания. Короткого, неровного. Как будто кто-то стоит очень близко к двери, по ту сторону, и дышит, и не может ни войти, ни уйти.

Он знал это дыхание. Он слушал его ночь за ночью, сидя на табурете у кровати, пока оно не стало редким, как у Агаты, а потом он заснул и не услышал, как оно кончилось.

Кассиан встал.

Он прошёл по коридору мимо келий, мимо двери Тальберта, из-под которой не шёл свет, мимо трапезной, где на столе стояли две пустые чашки, его и брата Гервина или сестры Оделии, теперь не разобрать. Вышел в сад. Ночь была тёплая, безветренная, пахло мятой и полынью. Над колокольней стояли звёзды.

Сквозняк тянул на юг. Через сад, через калитку в задней стене, через переулок, вверх по склону. Кассиан пошёл за ним, не думая, как идут за звуком в темноте. Калитка кладбища была не заперта, её не запирали никогда, некому было отсюда ничего уносить. Он прошёл между рядами, мимо старых камней, мимо новых деревянных столбиков, мимо того места, где в прошлом году хоронили бочара. Было светло от звёзд. Сквозняк вёл его так уверенно, что он ни разу не споткнулся.

Он остановился у свежего холма.

Земля ещё не осела. На столбике было вырезано имя, он сам вырезал его ножом в ту ночь, когда не мог спать: ЛИРА. Ниже — даты. Ниже — ничего. Мать хотела, чтобы ниже было что-нибудь из писания. Он не смог вспомнить ни одной строчки, которая была бы правдой.

Холод здесь был такой, что у него онемели руки.

Это был тот же холод, что у Агаты. Порог. Но у Агаты порог был открыт, и она прошла, и дверь закрылась. Здесь дверь была открыта. И никто не прошёл. Кассиан стоял над свежей землёй и чувствовал это так ясно, как чувствуют, что в доме за спиной кто-то есть: она была

здесь. Не под землёй. Не в земле. Здесь, на самом пороге, в полушаге, как стояла Агата. Только Агата смотрела назад на мельницу, а Лира… Лира не смотрела никуда. Лира стояла и ждала.

Ты обещал.

Он не услышал этого. У порога не бывает голосов. Он просто знал, что она это сказала бы, и это было хуже, чем услышать.

И было ещё что-то. Под холодом. В самой его глубине, там, где у порога обычно ничего нет, только пустота и сквозняк, было тёплое. Маленькое. Бьющееся. Как будто в замёрзшей реке подо льдом кто-то держал в ладонях живую птицу.

Кассиан опустился на колени и положил ладони на землю. Земля была холодная и сухая сверху, влажная, если копнуть пальцами. Он копнул. Под ногтями стало черно.

Это было неправильно. Он знал, что это неправильно, так же твёрдо, как знал, что у порога не бывает голосов. За это выгоняют из храма. За это, если узнают в городе, могут и побить, и будут правы. Мёртвые принадлежат Морвену, говорил брат Гервин, а мы только провожаем, и наша работа кончается у порога. Кассиан три года повторял это вслед за ним.

Он поднялся. Отряхнул руки о рясу, и на сером остались чёрные полосы.

У кладбищенской стены, в углу, стоял сарай могильщика. Дверь в нём держалась на одной петле и не запиралась уже лет десять. Кассиан знал это, потому что сам в начале лета чинил вторую петлю и бросил, когда Лира заболела.

Он пошёл туда. Сквозняк больше не тянул. Ему было не нужно. Кассиан теперь знал дорогу сам.

Лопата стояла у стены, там, где он её оставил в день похорон.

Он взял её.

Глава вторая
Вес зерна

Дарен. Каменный Трон. Двадцать четвёртый день после вспышки.

В Каменном Троне считали ступени. Дарен заметил это в первую неделю после возвращения из Восточной Марки и с тех пор не мог перестать замечать.

Слуги считали вполголоса, поднимаясь по Большой лестнице с подносами. Стражники на переходах считали, сменяясь. Даже старый канцлер Остевин, который за сорок лет должен был выучить эту лестницу наизусть, шевелил губами на каждой площадке. Сто сорок четыре ступени от Нижнего двора до Совещательного зала. Ни одна не сдвинулась за триста лет. Город стоял на самой твёрдой скале Кордарских равнин, и люди здесь, сами того не замечая, проверяли это по десять раз на дню.

В Марке ступени не считали. Там считали трещины.

Дарен поднимался медленно. Он не любил опаздывать, но ещё меньше любил приходить в зал совета первым, когда слуги ещё расставляют кувшины и делать нечего, кроме как смотреть на карту Тиресса над камином и слушать, как она молчит. Поэтому он шёл ровно в том темпе, в каком шли бы трое советников перед ним, если бы они вообще ходили пешком. На девяностой ступени у него заныло колено. Старая рана, Марка, ледоход на Сухой реке, которая два года назад за одну ночь поменяла русло и смыла полдеревни вместе с мостом, по которому он ехал. Колено ныло всякий раз, когда собиралась гроза или когда ему предстояло спорить с отцом.

Сегодня грозы не было.

* * *

Совещательный зал был длинный и холодный, как все залы, построенные для того, чтобы в них не засиживались. Узкие окна смотрели на запад, и утром здесь было сумрачно. Слуги зажигали лампы. Девять кресел вдоль стола, десятое во главе, выше остальных на ладонь. Дарен сел на своё, справа от отцовского, и положил перед собой тонкую папку. В папке было три листа. Он переписывал их ночью четыре раза, каждый раз выкидывая лишнее, и теперь на них осталось только то, что можно было сказать за время, пока отец не начнёт смотреть в окно.

Остевин пришёл вторым и кивнул ему. Потом маршал Хедде, грузный, с саблей, которую он не снимал даже в нужнике, и с запахом конюшни, который не снимал вообще. Потом казначей Ульрих Брандт, маленький, сухой, похожий на счётную доску. Потом двое от знатных домов, лорд Вейгель и леди Эрменгарда Тосс, которые входили вместе и садились вместе уже двадцать лет, хотя, по общему мнению, ненавидели друг друга. Кресло Корвина пустовало: брат императора был на Тирессе. Пустовало и ещё одно, крайнее слева, чьё именно, Дарен уже не помнил. Кажется, кресло бывшего главы гильдий. Его не занимали из уважения, а потом просто привыкли.

Магистр Северин Алей вошёл последним перед императором, как входил всегда, и Дарен, как всегда, почувствовал, что в зале стало светлее.

Это было глупое чувство. Дарен знал, откуда оно. Северин учил его читать. Северин сидел с ним над картами, когда Дарену было восемь и он не мог понять, почему реки на карте синие, если в жизни они бурые. Северин приходил к нему, когда умерла мать, и молчал рядом три вечера подряд, а на четвёртый принёс деревянную модель корабля и сказал: «Давай посмот-

рим, почему он не тонет». Северин был лучшим, что случилось с Дареном в этом холодном доме, и было бы странно, если бы рядом с ним не становилось светлее.

— Ваше высочество, — сказал Северин, улыбнувшись ему через стол. — Как колено?

— Ноет.

— Значит, будет спор. — Улыбка стала шире. — Не давайте отцу смотреть в окно.

Дарен невольно улыбнулся в ответ.

Северину было, если верить придворным книгам, под шестьдесят. Он появился при дворе почти тридцать лет назад, когда Альдрен был ещё молодым императором, а Дарена не было вовсе. Седина у него на висках была та же, что и в детских воспоминаниях Дарена, морщины у глаз те же. Руки были руками человека лет сорока: гладкие, сухие, без единого пятна. Дарен иногда ловил себя на том, что смотрит на эти руки, и тогда отводил глаза, как отводят глаза от чужого письма.

Маги Света стареют медленнее, говорили при дворе. Это все знали. Это было даже немного неприлично, как говорить о чужих деньгах.

Двери в конце зала открылись. Все встали.

* * *

Император Альдрен шёл сам. Это было важно, и все в зале это знали. Последние два года он шёл медленнее, с тростью, но шёл сам, отказываясь от кресла на колёсах, которое предлагали лекари, и от руки, которую предлагали все. Он был высок, как Дарен, и худ, как Дарен, и в последние годы стал похож на старое дерево, которое высохло, но не упало. Седые волосы коротко острижены. Борода тоже. Глаза светлые, внимательные. Дарен всю жизнь пытался понять, что в этих глазах, и так и не понял. Иногда ему казалось, что отец просто очень устал.

Альдрен сел. Все сели.

— Начинайте, Остевин, — сказал император.

Начали, как всегда, с Тиресса.

Маршал Хедде прочитал письмо Корвина. Письмо было длинное, и Хедде читал его так, будто сам его писал, с нажимом и паузами. Вельсарский флот стоит под Ордисом. Вельсарцы высаживаются южнее, на устойчивых землях, и строят там крепости, не стесняясь. Союз Вольных Земель трещит: два княжества на юге уже ведут с Вельсарой переговоры за спиной у совета Союза. Корвин просил четыре полка и сорок осадных машин и просил прислать их до осенних штормов, потому что после штормов будет поздно.

— «…и если Каменный Трон не пришлёт людей, — дочитал Хедде, — то пусть пришлёт священников, потому что людей, которых я здесь держу, отпевать будет некому». Конец.

— Корвин всегда писал красиво, — сказал Альдрен.

Лорд Вейгель хмыкнул. Леди Тосс посмотрела на него с отвращением. Казначей Брандт сказал, что четыре полка будут стоить столько-то, сорок осадных машин столько-то, а доставка морем до штормов ещё столько-то сверху, потому что после той ночи ни один шкипер в Солёной Гавани не выйдет за мыс без двойной платы. Он назвал цифры. Цифры повисли над столом.

Дарен смотрел на свои три листа.

— Есть и другие новости, — сказал Остевин, когда тишина затянулась. — Из провинций. О той ночи.

Он стал читать. Дарен слушал вполуха, потому что всё это он уже знал. Свет той ночью видели везде, от Марки до побережья. Везде он собрался в одну точку, везде была тишина, везде люди потом говорили, что на миг перестали дышать. В трёх провинциях после этого начались проповеди. Солнечная вера, раньше секта для городских богомольцев, за три недели собрала толпы. Церковь Девяти просит совет запретить проповеди на площадях. Храмы Перехода по всему Кордару сообщают о странном: колокола звучат иначе, послушники видят то,

чего не видели, умирающие уходят быстрее, а кто-то, наоборот, не уходит совсем. В двух уездах, где после той ночи земля просела, люди ушли с мест и пошли к столице.

— Сколько? — спросил Дарен.

Остевин сверился с листом.

— Около трёх тысяч из Сухих Лугов. Тысяча двести из Подгорья. Ещё не дошли.

— Чем их кормить?

— Это вопрос к провинциальным наместникам, ваше высочество.

— Наместник Сухих Лугов сидит в Каменном Троне с весны, — сказал Дарен. — Его зовут Морен Ласк, и он живёт на Верхней улице, в доме с зелёной дверью. Его амбары в Лугах пусты с позапрошлого года, потому что половину урожая забрали на Тиресс, а вторую половину съела гниль. Я был там в прошлом месяце. Это вопрос к нам.

Стало тихо. Дарен не повышал голоса. Он вообще давно разучился повышать голос, в Марке это было бесполезно: земля под ногами двигалась, крича или нет.

Альдрен смотрел на него. Не в окно, отметил Дарен, на меня. Это уже было что-то.

— Говори, — сказал император.

Дарен открыл папку.

Он говорил недолго. Он сказал, что в Восточной Марке за пять лет ушло под землю одиннадцать деревень и что за пять лет Каменный Трон прислал туда двух инженеров, одного мага Основы, который через месяц попросился обратно, и сорок шесть сборщиков налогов. Что люди в Марке перестали верить обещаниям, потому что им трижды обещали снизить подать и трижды повышали её ради Тиресса. Что каждый мешок зерна, отправленный на Тиресс, по дороге теряет треть веса, потому что его везут морем, а море теперь ходит, где хочет, и что треть мешка — это то, что могли бы есть в Сухих Лугах, а не рыбы в Блуждающем море. Что если Каменный Трон пошлёт Корвину четыре полка, то через год их придётся посылать уже в Сухие Луга, потому что люди, которые сейчас идут к столице, придут и не уйдут.

Он закрыл папку. Это заняло, по его счёту, столько времени, сколько нужно, чтобы выкипел маленький котелок.

— Ты предлагаешь бросить Тиресс, — сказал маршал Хедде.

— Я предлагаю посчитать, сколько он весит.

— Тиресс нельзя взвешивать мешками, ваше высочество. Там стоят люди, которых твой дядя…

— Я знаю, кто там стоит. — Дарен посмотрел на маршала. — Там стоят люди из Сухих Лугов, маршал. Из Подгорья. Из Марки. Их матери сейчас идут к столице.

Хедде покраснел. Леди Тосс подняла брови, как поднимает брови женщина, которая увидела в саду неожиданно хорошую розу. Лорд Вейгель смотрел в стол.

— Ваше величество, — сказал Северин.

Голос у него был негромкий, ровный, тёплый, и все в зале повернулись к нему так, как поворачиваются к огню.

— Его высочество говорит правду о провинциях, — сказал магистр. — Я бы не смог сказать её лучше. Я и не пытался, признаться, последние годы, и мне стыдно. — Он слегка наклонил голову в сторону Дарена, и в этом не было ни капли насмешки. — Но я прошу совет вспомнить, какой это год. На площадях говорят, что из Девяти ушли уже восемь…

— На площадях, — сухо сказал Остевин. — Церковь этого не подтверждает.

— Не подтверждает, — согласился Северин. — Но небо три недели назад собралось в точку на глазах у всего Эйрдана. Вельсара видела то же самое, что видели мы. И что Вельсара сделала на следующий день? Подвела флот к Ордису.

Он сделал паузу.

— В такой год, — сказал Северин мягко, — на империю смотрят не крестьяне Сухих Лугов, при всём моём к ним уважении. На империю смотрят соседи. И если империя в такой год отзывает полки из-за мешков с зерном, соседи делают вывод. Не о зерне.

— Соседи сделают вывод, когда Сухие Луга придут к воротам, — сказал Дарен.

— Возможно, — согласился Северин. — И тогда мы будем их кормить. Но если мы сейчас ослабим Тиресс, то кормить их будет не на что, потому что Вельсара перережет нам все южные пути. Я не спорю с тем, что вы говорите, ваше высочество. Я спорю с тем, когда.

Это было сказано так спокойно и с такой любовью, что Дарен почувствовал, как злость в нём, ровная и сухая, которую он нёс с собой с девяностой ступени, тихо гаснет. Он смотрел на магистра через стол и думал, что Северин прав. Что Северин всегда прав, когда говорит этим голосом. Что «когда» действительно важнее, чем «что».

Потом колено снова заныло, и Дарен вспомнил деревню Лосиный Брод, которая ушла под землю в ночь на шестой день после вспышки, вместе с колодцем, вместе с часовней, вместе с семьёй старосты, у которого Дарен за год до того пил кислое пиво и слушал жалобы на подать. Он вспомнил это очень ясно, с запахом пива, и злость вернулась. Небольшая. Но своя.

— Я записываю «когда», — сказал он. — И прошу совет записать, что я спросил.

Остевин послушно записал.

Император всё это время молчал. Теперь он поднял руку.

— Корвин получит два полка, — сказал Альдрен. — Не четыре. Осадных машин двадцать. Морем, с двойной платой. Брандт, найди деньги. — Казначей поморщился. — Сухим Лугам и Подгорью — зерно из казённых амбаров Каменного Трона, до весны. Наместника Ласка я жду завтра утром у себя. Пусть оденется для дороги.

Леди Тосс улыбнулась уже открыто.

— Это всё по Тиressу, — сказал император. — Дальше.

Дальше были храмы и проповеди, и Дарен почти не слушал. Он смотрел на отца. Альдрен сидел прямо, держа трость между колен, и не смотрел в окно. Он смотрел на карту Тиресса над камином, долго, будто читал на ней что-то, чего не было видно остальным. Два полка, подумал Дарен. Не четыре. И ни слова о том, почему два.

Северин тоже смотрел на карту. Потом, будто почувствовав взгляд, перевёл глаза на Дарена и чуть-чуть, одним уголком рта, улыбнулся: мол, видишь, всё не так плохо. Половина — это уже что-то.

Дарен кивнул. Это и правда было что-то.

* * *

После совета он пошёл к казначею, потому что «найди деньги» в устах отца означало «найди, у кого отнять», а Дарен хотел знать, у кого. Брандт принял его в своей конторе, где пахло воском и пылью, и битый час показывал столбцы. Деньги нашлись в фонде на ремонт Северной стены. Северная стена, сказал Брандт, простоит ещё сто лет, если ей не мешать, а Сухие Луга до весны без зерна не простоят. Дарен согласился. Потом пошёл к начальнику казённых амбаров и ещё час выяснял, сколько там зерна на самом деле, а не на бумаге. На самом деле было меньше. Как всегда.

Амбары стояли у Нижнего рынка, и обратно он пошёл через рынок, пешком, без свиты. В Марке он привык ходить пешком: верхом там ездили только те, кому было не жалко коня. Здесь на него оглядывались, но не узнавали. Наследника в лицо знали немногие, а человек в сером дорожном плаще и с папкой под мышкой мог быть кем угодно, хоть писарем из казначейства.

Хлеб стоил вдвое против весны. Он спросил у пекаря, почему. Пекарь, толстый, в муке по локоть, посмотрел на него, как на дурака, и сказал, что мука с юга не идёт, потому что юг теперь за морем, а море теперь гуляет. Потом подумал и добавил, что вчера в Солнечном

доме на Ткацкой бесплатно раздавали хлеб, по краюхе на голову, и что очередь стояла до реки. Дарен спросил, кто такие в Солнечном доме. Пекарь пожал плечами.

— Белые, — сказал он. — Которые говорят, что один бог остался и он нас держит. Хлеб у них хороший. Не мой, но хороший.

У рыбных рядов сидела на мешке женщина с двумя детьми. Дети спали. Женщина смотрела перед собой. Рядом стоял второй мешок, пустой, сложенный вчетверо. Дарен остановился. Он узнал этот способ складывать мешок: так складывали в Сухих Лугах, чтобы потом нести под мышкой и не терять.

— Из Лугов? — спросил он.

Женщина подняла на него глаза. Они были сухие и очень спокойные.

— Из Овсяниц, — сказала она. — Это за Лугами. Вы не знаете.

— Знаю, — сказал Дарен. — У вас мельница на ручье. И часовня с синей крышей.

Женщина смотрела на него долго.

— Была, — сказала она. — Часовня. Ушла. В ту ночь. С крышей.

Он дал ей всё, что было в кошельке. Она взяла молча, без благодарности, как берут то, что положено. Он пошёл дальше и думал, что через день-другой, как только бумаги пройдут через корону, наместник Ласк поедет в Сухие Луга, одетый для дороги, и что это будет первый раз за два года, когда Каменный Трон пошлёт в провинцию не сборщика налогов.

Когда он вышел с рынка, был уже вечер. Солнце садилось за западные башни, и весь Каменный Трон стоял в тени, кроме верхушки дворцовой колокольни, которая горела красным. Город шумел внизу, как шумит большой котёл, в котором давно ничего не варят, но который никак не остынет. С Нижнего рынка тянуло жареным луком. С храмовой площади, которой Дарен не видел, доносилось пение. Мужские голоса, много, в лад. Солнечная вера, подумал он. Три недели назад у них в столице было четыре проповедника. Сколько сейчас?

Ему хотелось спать. Он не спал толком с тех пор, как вернулся из Марки. В Марке он спал хорошо, как ни странно, даже когда под окном трещала земля. Здесь, на самой твёрдой скале Кордара, он лежал ночами и слушал, как стоит дворец. Стоял он очень тихо.

Он уже поднимался к себе, когда на сто двадцатой ступени его догнал паж.

— Ваше высочество. Его величество просит вас в Старую картографическую. Сейчас.

— В Старую?

Паж кивнул, глядя в пол.

Старая картографическая была в западной башне, под самой крышей, и туда никто не ходил с тех пор, как картографов перевели в новое крыло. Дарен не был там лет двадцать. В последний раз он был там с Северином: магистр показывал ему, как по старым картам видно, где реки текли раньше.

Он поднялся. Колено ныло всю дорогу.

* * *

В Старой картографической было пыльно и холодно, пахло старой бумагой и мышами. Одна свеча на длинном столе. Высокие стеллажи вдоль стен, свёртки карт торчат, как трубы органа. Отец стоял у окна, спиной к двери, без трости. Трость стояла у стола.

— Закрой, — сказал Альдрен, не оборачиваясь.

Дарен закрыл дверь.

— Ты сегодня хорошо говорил, — сказал отец.

Дарен молчал. Он ждал «но». Его не последовало.

— Сухие Луга, — сказал Альдрен. — Одиннадцать деревень в Марке. Треть мешка. Ты всё это посчитал сам?

— Сам.

— Хорошо. — Император повернулся. В свете одной свечи лицо у него было серое и очень старое. Старше, чем днём. — Я тоже считаю. Я считаю пятнадцать лет. Знаешь, сколько это стоит, Тиресс? Не мешками, Дарен. Людьми. Я считал, сколько мы туда отправили. Каждый год. Я сам, своей рукой. Не Брандт. Я.

Он подошёл к столу и тяжело оперся на него обеими руками.

— Тридцать одна тысяча, — сказал он. — Это только те, кто не вернулся. Без тех, кто вернулся без ноги.

Дарен не знал, что сказать.

— Я хочу это закончить, — сказал отец. — Пока жив. Ты понимаешь? Я начал эту войну сам, пятнадцать лет назад, своей подписью, и я хочу её закончить. Не выиграть. Закончить.

— Тогда зачем два полка?

— Затем, что если я сегодня отзову Корвина, Вельсара завтра будет в Ордисе, а послезавтра в Солёной Гавани. — Альдрен посмотрел на него. — Мир заключают с сильной позиции, сын. Не с пустыми руками. Два полка — это руки.

Он выпрямился. Это далось ему с трудом, но он выпрямился сам.

— Я веду переговоры с Вельсарой, — сказал Альдрен. — Тайно. С весны.

Дарен смотрел на него. Ему показалось, что он ослышался, и он ждал, пока слова дойдут.

— С кем?

— С домом Вандерграф. Это сильнейший торговый дом в их совете. Глава дома стар и устал от войны, как я. Его дочь ездит ко мне. Не сюда. В Северный монастырь, под видом паломницы. Её зовут Илисса. Она умна. Гораздо умнее, чем им там, в их совете, хотелось бы.

— Совет знает?

— Нет.

— Корвин?

— Корвин узнает последним. — Император усмехнулся, без радости. — Корвин пятнадцать лет хоронит людей на Тирессе. Он скажет, что я предаю мёртвых. Он будет прав. Я и предаю. Живые важнее.

— Северин?

Альдрен помолчал.

— Нет, — сказал он. — Пока нет.

— Почему?

— Потому что Северин — лучший советник, какой у меня был, и он всегда прав. — Отец снова усмехнулся, и на этот раз в усмешке было что-то, чего Дарен не понял. — А когда человек всегда прав, сын, иногда хочется подумать самому. Без него. Хотя бы раз. — Он махнул рукой. — Это старческое. Не обращай внимания. Я скажу ему, когда будет что сказать. Пока сказать нечего. Пока есть только условия, которые никто из нас не может принять.

— Какие условия?

Альдрен подошёл к стеллажу, вытащил один свёрток и развернул его на столе. Это была старая карта Тиресса, ещё без половины рек, которые появились позже, и без половины берегов, которые ушли под воду. Император положил на север материка свою ладонь.

— Север — нам, — сказал он. Передвинул ладонь на юг. — Юг — им. Устойчивые земли, порты, проливы. — Он убрал руку. — Союз Вольных Земель остаётся на бумаге. Сам понимаешь, что это значит.

Дарен понимал. Это значило, что две империи договорятся о том, чтобы разрезать чужой материк пополам, а людям, которые там живут, сообщат потом.

— Это мир, — сказал Альдрен, будто слышал его мысли. — Плохой мир. Но мир. Ни один кордарский мальчик больше не поедет туда умирать. Тридцать одна тысяча, Дарен. Я хочу остановить счёт на этом числе.

Свеча на столе горела ровно. В её свете старая карта казалась жёлтой, как кость.

— Почему ты говоришь это мне? — спросил Дарен.

Отец посмотрел на него долго, тем взглядом, которого Дарен никогда не мог прочитать. Потом сел на табурет у стола, очень медленно, как садятся старики, не уверенные, что встанут.

— Потому что я стар, — сказал Альдрен. — И потому что ты сегодня посчитал мешки. Корвин не считает мешки. Северин считает соседей. Брандт считает деньги. А ты считаешь мешки и людей, которые эти мешки едят. — Он помолчал. — Я хочу, чтобы ты поехал на следующую встречу. Со мной. А если я не смогу, то вместо меня.

— Я не дипломат.

— Ты пять лет уговаривал крестьян в Марке не бросать землю, которая уходит у них из-под ног. — Альдрен слабо улыбнулся. — Дипломатом ты будешь хорошим. Хуже, чем Северин, но честнее.

Дарен открыл рот, чтобы ответить, и не ответил. Что-то сдавило горло. Он не мог вспомнить, когда отец в последний раз говорил с ним так. Может быть, никогда.

— Я поеду, — сказал он.

— Хорошо. — Император кивнул, глядя на карту. — Это всё. Иди спать. И Дарен… — Он не поднял глаз. — Никому. Даже ему. Пока я сам не скажу.

— Даже ему, — повторил Дарен.

* * *

Он спускался по лестнице западной башни в темноте, держась рукой за стену. Стена была холодная и сухая. Сто ступеней, сто одна, сто две. Он поймал себя на том, что считает, и усмехнулся.

На площадке второго этажа было окно, большое, во всю стену, с видом на внутренний двор. Во дворе горели фонари. Дарен остановился, чтобы передохнуть, и увидел внизу, у колоннады, человека в светлом.

Северин стоял один, без фонаря, у самой колоннады, и смотрел вверх. На западную башню. Дарену показалось, что прямо на окно Старой картографической, где ещё горела отцовская свеча.

Свет от фонарей ложился на двор ровными жёлтыми кругами. Северин стоял между двумя кругами, в тени, обычный пожилой человек в светлой мантии, который вышел подышать перед сном. Только стоял он слишком долго для того, кто просто дышит.

Северин опустил голову, повернулся и пошёл через двор к своему крылу. Шёл неторопливо, заложив руки за спину. Ни разу не оглянулся.

Дарен постоял у окна ещё немного. Колено ныло.

Устал, сказал он себе. Устал, и не спал, и отец говорил с тобой так, как не говорил двадцать восемь лет. Тебе сейчас что угодно покажется.

Он пошёл вниз и больше не считал. Внизу, у последней ступени, он остановился и стоял, прислушиваясь, как стоит дворец.

Дворец стоял очень тихо.

Глава третья
Сны по медяку

Ярина Соль. Ордис, Тиресс. Двадцать пятый день после вспышки.

Первый горшок упал в гавань, когда Ярина переписывала долги гильдии бондарей за позапрошлый год.

Она услышала его раньше, чем почувствовала: короткий, сытый свист над крышами, будто кто-то огромный втянул воздух сквозь зубы. Потом удар. Не громкий. Глухой, как будто уронили мешок с мокрым бельём на каменный пол этажом выше. Чернильница на столе подпрыгнула и плеснула на лист. Через три вдоха пол под ногами слегка дрогнул, и с потолка архивного подвала посыпалась тонкая белая пыль, прямо на её рукав.

— Бондари, — сказала Ярина пятну на листе. — Вы и так никому ничего не платили. Теперь и подавно.

Архивариус Бенедикт Пул за соседним столом не поднял головы. Он был старый, лысый, в очках с толстыми стёклами, и за двенадцать лет, что Ордис стоял на линии фронта, научился не поднимать головы на свист. Он сидел, обложившись гроссбухами, и шевелил губами, складывая столбцы.

— Это доки, — сказал он, не отрываясь. — Третий причал. По звуку. Они всегда бьют по третьему, потому что там склады соли, а соль хорошо горит.

— Соль не горит, мастер Пул.

— Склады горят. Соль просто лежит внутри. Пиши, Соль.

Он называл её по фамилии. Ему это казалось смешным. Ярине тоже, в первый год. Потом привыкла.

Второй горшок упал ближе. Пыли стало больше. Где-то наверху, в Палате Весов, хлопнула дверь и затопали сапоги, наёмники гарнизона бежали на стену. Они всегда бежали на стену, когда начинали бросать, хотя со стены ничего нельзя было сделать: вельсарские корабли стояли у входа в залив, за пределами досягаемости любых машин, и бросали свои горшки с огнём оттуда, лениво, по расписанию, раз в три-четыре дня. Не для того, чтобы взять город. Для того, чтобы город помнил, что его можно взять.

Ярина промокнула кляксу. Переписала строку. Бондари должны гильдии весовщиков двести сорок серебряных марок за пользование городскими весами в позапрошлом году. Бондари никогда не заплатят. Гильдия весовщиков никогда не простит. Совет гильдий будет разбирать это на заседании через неделю, если к тому времени Палата Весов будет стоять. Ярина двенадцать лет переписывала долги, которые никто не заплатит, и находила в этом своё утешение. Мир разваливался, моря ходили, где хотели, боги умирали один за другим, но бондари Ордиса по-прежнему были должны весовщикам двести сорок марок. Хоть что-то держалось на месте.

Третьего горшка не было. Наверху снова затопали, уже медленнее, назад.

— Всё, — сказал Пул. — На сегодня всё. Они стали ленивые. Раньше бросали по пять.

— Может, у них кончаются горшки.

— У Вельсары ничего не кончается, Соль. У Вельсары кончается терпение. Это хуже. — Он наконец поднял голову и посмотрел на неё поверх очков. — Ты опять плохо спала.

— Я всегда плохо сплю, мастер Пул. Это моя профессия.

— У тебя круги под глазами до подбородка.

— Это для солидности. Клиенты больше доверяют толковательнице, которая выглядит так, будто сама видела всё, о чём ей рассказывают.

Пул хмыкнул и вернулся к столбцам.

Она действительно плохо спала. Она плохо спала всю жизнь, сколько себя помнила, с тех пор, как ей было лет шесть. Но последние три недели было хуже. Последние три недели ей снился сон, и сон стал длиннее.

* * *

В полдень она поднялась наверх подышать и пошла к гавани. Не потому, что хотела смотреть на пожар, а потому, что все шли смотреть на пожар, и стоять в подвале одной, когда весь город на набережной, было как-то неприлично. Как не прийти на похороны соседа, которого не любил.

Третий причал горел ровно и деловито. Склады соли были каменные, крыши деревянные, и крыши горели, а камень стоял и чернел. Пожарная цепь из грузчиков и подмастерьев передавала вёдра от воды к огню, и вёдра шли быстро, без суеты, потому что всё это они делали уже много раз. У самого края набережной, на перевёрнутой бочке, сидел капитан наёмного гарнизона Дорн Хальвик и ел яблоко. Хальвик был невысокий, плотный, с перебитым носом и с серьгой в ухе, какие носили на юге Вельсары, откуда он сбежал двадцать лет назад. Ордис платил ему за то, чтобы он сбегал оттуда каждый год заново.

— Госпожа архивистка, — сказал он, увидев её. — Пришли записать?

— Пришла убедиться, что вы не забыли, где стена.

— Стена на месте. — Хальвик откусил яблоко. — Это город под ней всё время куда-то уходит. Вчера пекарня Гюнта стояла на углу Мучной. Сегодня на углу Мучной стоит пекарня Гюнта, но ниже на палец. Я вам говорю, госпожа Соль, этот город тонет. Медленно. Вельсарцам даже не надо его брать. Подождут лет двадцать, и он сам к ним сползёт.

— Тогда зачем им горшки?

— Скучно. — Капитан пожал плечами. — На кораблях всегда скучно. Я служил на кораблях.

Ярина посмотрела на залив. Вельсарские корабли стояли у выхода, далеко, четыре тёмных силуэта на светлой воде. Один из них медленно разворачивался. Над ними в небе висела серая полоса дыма, тонкая, как нитка.

Её отец был переплётчиком, мать — белошвейкой; они жили на Сапожной, в седьмом доме от угла. Пятнадцать лет назад, в первую осень войны, когда фронт был ещё далеко и вельсарцы только пробовали, докуда долетают их горшки, корабли ночью подошли к заливу. Ярине было одиннадцать, и в ту ночь она была на маяке у Солёного мыса: считала ступени. Утром за ней на маяк пришла соседка, и на Сапожной уже не было ни дома, ни отца, ни матери. Три года Ярина жила где придётся. Потом линия фронта пришла к самому Ордису и осталась, Ярине исполнилось четырнадцать, и она пошла к мастеру Пулу и попросилась переписывать долги. Пул снял очки, протёр их краем рукава, дал ей лист из реестра ремесленных долгов и сказал: «Перепиши. Без ошибок». Она переписала без ошибок. В реестре была запись о долге её отца, двенадцать марок за кожу для переплётов. Пул молча забрал у неё лист, вычеркнул долг и поставил на полях «Уплачено городом». Потом дал ей второй лист.

Она никогда ему этого не говорила. Но с тех пор считала, что Ордис ей ничего не должен.

— Сны вам снятся, капитан? — спросила она вдруг.

Хальвик перестал жевать.

— А что?

— Ничего. Профессиональный интерес.

Он помолчал. Потом бросил огрызок в воду.

— Снится, — сказал он. — Как у всех. Свет. В точку. — Он вытер руки о штаны. — Только я, госпожа Соль, в бога не верю с тех пор, как мне было десять, так что мне и в свет не надо. А всё равно снится. Это обидно, знаете. Как будто тебя в чужую церковь затащили.

Он встал и пошёл вдоль набережной, покрикивая на пожарную цепь. Ярина ещё немного постояла, глядя на чернеющий камень складов, и вернулась в подвал.

* * *

Сон был всегда один и тот же. Ярина знала его так хорошо, что могла бы нарисовать с закрытыми глазами, если бы умела рисовать. Она не умела, поэтому записывала. У неё было три тетради, исписанные этим сном почти за двадцать лет, и в последней тетради почерк был хуже, чем в первой, потому что в первой она писала в восемь лет, медленно и старательно, а в последней писала по ночам, при огарке, быстро, пока не ушло.

Комната. Не комната, скорее зал, круглый, с очень высоким потолком, которого не видно. Вокруг двери. Много дверей, десятки, сотни, все разные: дубовые, железные, стеклянные, двери из ткани, из воды, из чего-то, похожего на туман. Некоторые открыты, и за ними видны чужие сны: рыбак тянет сеть, полную звёзд; девочка бежит по полю, которое становится морем; старик плачет над пустой колыбелью. Двери тихо дышат.

Посреди зала стоит женщина. Высокая. В длинном одеянии цвета поздних слив. На голове что-то вроде узкого обруча. Лица Ярина никогда не видела, только глаза, синие, яркие, как вода в глубоком колодце, если на неё упадёт солнце. В руках у женщины шар. Синий, светящийся изнутри, размером с яблоко.

Потом приходит свет.

Он входит через одну из дверей. Женщина сама открывает ему: Ярина видит, как она поворачивается к одной из дверей, золотой, тяжёлой, и тянет за ручку, и улыбается. Ярина каждый раз хочет крикнуть ей, не открывай, и каждый раз во сне у неё нет горла. Свет входит. Он похож на человека, но смотреть на него нельзя, как нельзя смотреть на полуденное солнце в воде. Он идёт по залу, и двери закрываются одна за другой, мягко, без стука. Женщина стоит и смотрит на него с доверием. Потом шар в её руках трескается.

На этом сон всегда кончался. Звук трещины, тонкий, как звон надтреснутого стакана, и Ярина просыпалась, мокрая, с колотящимся сердцем, и записывала.

Последние три недели сон не кончался на трещине.

Теперь, после трещины, она видела руку. Рука света лежала на шаре, поверх ладоней женщины, и пальцы у неё были спокойные. Не сжимали. Просто лежали. Потом шар раскалывался, тихо, как перезрелый плод, и синий свет вытекал из него по пальцам, по запястью, и рука света впитывала его, как сухая земля впитывает воду. А женщина падала. Не на пол, пол во сне не держал. Она падала вниз, сквозь все двери сразу, и двери за ней открывались, одна за другой, все до единой, и из каждой выплёскивался чужой сон, и сны смешивались, и Ярина просыпалась уже не от трещины, а от того, что в её голове на мгновение оказывались сразу все чужие сны мира.

И ещё. Неделю назад во сне появился звук. В самом конце, когда женщина уже падала, кто-то сказал, очень тихо, без голоса: «Прости». Ярина не знала, кто. Ей казалось, что свет.

Она записала это. Подчеркнула два раза. Потом зачеркнула подчёркивание, потому что подчёркивать во сне было глупо.

* * *

После полудня она уходила из архива к вдове Рохе.

Вдова Роха держала аптеку на Кривой улице, в трёх кварталах от Площади Весов, и сдавала Ярине комнату над аптекой. Комната была маленькая, с окном во двор, со столом, двумя стульями и занавеской, за которой стояла кровать. В комнате пахло сушёной ромашкой, полынью и чем-то сладким, что вдова варила внизу от кашля. На двери висела дощечка: «Толкую сны. Медяк». Внизу кто-то давно приписал углём: «А деньги вернёшь, если не сбудется?» Ярина не стирала. Ей нравилось.

Сегодня у двери уже ждали. Трое. Это было необычно: обычно в будний день приходили один-два, а в иной день не приходил никто, и тогда Ярина сидела у окна и читала старые городские хроники, которые тайком уносила из архива и тайком приносила обратно.

Первым был пекарь Гюнт. Огромный, рыжий, с руками, на которых мука въелась в кожу так, что они казались вылепленными из теста. Он сел на стул, и стул жалобно скрипнул.

— Свет, — сказал Гюнт без предисловий. — Опять свет.

— Тот, что в точку?

— Он самый. — Пекарь положил на стол медяк, подумал и положил второй. — Третью ночь. Я стою во дворе, а свет со всего неба стекает в одну точку, и я тоже стекаю. Вот отсюда. — Он ткнул пальцем себе в грудь. — Как будто из меня тянут нитку. И тянут. И я знаю, если всё вытянут, я…

— Что?

— Не знаю. — Гюнт смотрел на свои руки. — Не знаю, госпожа Соль. Перестану быть. И главное, знаете, что? Мне не страшно. Мне во сне хочется, чтобы вытянули. Вот это страшно.

Ярина взяла его медяки, положила обратно ему в ладонь и сжала его пальцы.

— Гюнт, — сказала она, — вы видели это наяву. Три недели назад. Вы и весь Ордис. Вы стояли во дворе и смотрели, как свет уходит в точку, и вам показалось, что из вас что-то тянут. Так бывает. Сон возвращает то, что сильно напугало. Это не предсказание. Это эхо.

— Вы не возьмёте денег?

— Я беру деньги за то, чего не знаю. За то, что знаю, не беру. Это у меня такая честность. Невыгодная.

Пекарь посмотрел на неё с подозрением, как смотрят на торговца, который отказался от выгодной сделки, потом сунул медяки в карман и ушёл. На пороге обернулся.

— Моя жена видит то же самое, — сказал он. — И её сестра. И мальчишка-подмастерье. Это тоже эхо?

— Вы все видели одно и то же, — сказала Ярина. — Значит, у вас одно и то же эхо.

Он ушёл. Она сидела и смотрела на закрытую дверь.

Вторая была девушка лет шестнадцати, швея из Ткацкого квартала, Мила или Мира, Ярина не расслышала. Девушка мяла в руках платок и говорила шёпотом. Свет в точку. Нитка из груди. Сладкое желание, чтобы вытянули. Ярина выслушала, взяла медяк, потому что девушка очень хотела отдать, и сказала что-то утешительное про то, что в такие времена снится всякое. Девушка ушла, просветлев.

Третий был старый рыбак с Солёного мыса, седой, кривоногий, пахнущий рыбой так, что вдова Роха внизу демонстративно закашлялась. Он сел, положил медяк и молчал так долго, что Ярина подумала, будто он заснул.

— Свет? — спросила она наконец.

— Свет, — согласился рыбак. — Сначала. А потом другое.

— Что другое?

Рыбак пожевал губами.

— Голос, — сказал он. — Снизу. Из-под воды. Из-под камня. Не знаю. Голос говорит, откройте. Одно слово. Откройте. И всё.

Ярина почувствовала, как у неё на шее поднимаются волоски. Это было глупо. Она с детства слушала чужие сны и знала, что людям снятся голоса, которые говорят разные вещи,

и что половину этих вещей потом можно найти в проповедях, которые эти люди слышали на площади накануне.

— Вы ходили на Площадь Весов? — спросила она. — Слушали проповедников?

— Каких проповедников?

— Белых. Солнечную веру. Они там каждый вечер.

— Белые говорят про свет, — сказал рыбак. — Я их слышал. Они говорят, что свет нас держит. А голос не говорит про свет. Голос говорит снизу. И голос, госпожа, он не держит. Он просит.

Он встал, оставил медяк на столе и ушёл, косолапя.

Ярина сидела ещё долго. Потом взяла последнюю тетрадь и записала: *Гюнт, его жена, сестра жены, подмастерье. Швея из Ткацкого. Все — свет в точку, нитка из груди, желание, чтобы вытянули. Рыбак с Солёного мыса — свет, потом голос снизу: «откройте».*

Подумала и приписала: *Мне голос не снится. Мне снится женщина с шаром. Почему мне другое?*

Подумала ещё и зачеркнула вопросительный знак, потому что на этот вопрос не было ответа и знак выглядел жалобно.

* * *

К вечеру она снова пошла в архив. Пул ушёл, но ключ от подвала он ей доверял уже пять лет, с тех пор как она нашла в старых описях пропавший договор города с княжеством Ветлы, из-за которого совет гильдий судился с князем двадцать лет. Ярине нравился архив вечером. Наверху, в Палате Весов, ещё заседали, через пол доносились приглушённые голоса, иногда смех, иногда стук кулака. А в подвале было тихо, пахло пылью и сыростью, и полки уходили в темноту рядами, как деревья в лесу, в котором никто не заблудится, потому что у каждого дерева есть номер.

Она хотела найти одну вещь. Ей вспомнилась фраза из старой хроники, которую она читала года три назад и не придала значения. Что-то о снах. О том, что в Ордисе после какой-то давней беды людям тоже снилось одно и то же. Она помнила полку, но не помнила номер тома.

Искала она долго. Нашла не то. Хроника, которую она помнила, была о чуме, и людям в ней снились покойные родственники, что было скучно и неудивительно. Ярина вздохнула и поставила том на место.

Рядом стоял другой. Старый, в переплёте из потрескавшейся кожи, без названия на корешке. Она вытащила его, потому что вытаскивала всё без названия, это была профессиональная привычка. Внутри был список. Перечень городских колодцев, с глубиной и годом постройки. Скука. Она перелистнула. Колодцы, колодцы. Глубина в саженях. На предпоследней странице кто-то другим почерком, гораздо более старым, бурыми чернилами, приписал на полях: *Ниже двадцатой сажени не копать. Там Порог.*

И всё. Больше ничего.

Ярина перечитала. Порог. С большой буквы. Не «порог», как у двери, а «Порог», как у имени.

Наверху стукнули кулаком, и кто-то засмеялся. Через пол донеслось: «…а я вам говорю, бондари заплатят!» Ярина не улыбнулась.

Она записала номер полки и номер тома в тетрадь, поставила книгу на место, погасила лампу и поднялась по лестнице.

* * *

На Площади Весов было людно.

Белые стояли у главного фонтана, как всегда. Их было пятеро, в одинаковых светлых одеждах, с одинаково сияющими лицами, и вокруг них стояло человек сто. Один из белых говорил, высоко подняв руки, и голос его разносился над площадью хорошо, чисто, как звон. Ярина не стала слушать. Она знала, что он говорит. Восемь ушли. Остался один. Один держит. Держитесь за него, и он удержит вас. Это было даже красиво, если не думать.

Она пошла вдоль края площади, к Кривой улице, и уже почти дошла, когда услышала другое.

Не голос. Пение. Тихое, без слов, на одной ноте, низкой, почти гул. Пели у старого фонтана, в дальнем углу площади, у того, который давно не работал, потому что двадцать лет назад вода в нём ушла вниз и больше не вернулась. Ярина повернула голову.

У старого фонтана сидели люди. Человек тридцать. Не стояли, как у белых, а сидели прямо на камнях, на мостовой, на краю пересохшей чаши, кто на корточках, кто скрестив ноги. Некоторых Ярина узнала. Рыбак с Солёного мыса. Швея из Ткацкого, Мила или Мира. Ещё двое, кто приходил к ней в прошлом месяце. Они сидели и гудели на одной ноте, с закрытыми глазами, и у Ярины снова поднялись волоски на шее, потому что все они сидели, чуть наклонившись вперёд. Вниз. Как люди, которые прислушиваются к чему-то под землёй.

В середине, на краю чаши, сидела старуха.

Маленькая, сухая, в чёрном платке, из-под которого торчали белые волосы. Лицо у неё было тёмное, морщинистое, как печёное яблоко. Глаза открыты. Белые. Совсем белые, без зрачков, как варёные яйца. Старуха не гудела. Она сидела, положив обе ладони на камень рядом с собой, плашмя, и слушала. Не ушами. Ладонями.

Ярина остановилась. Она не собиралась останавливаться. Ноги остановились сами.

Старуха повернула голову. Прямо к ней. Через всю площадь, через тридцать сидящих, через шум белых у главного фонтана. Белые глаза уставились на Ярину так точно, как будто видели.

— Девочка, — сказала старуха. Голос у неё был скрипучий, но громкий, его было слышно, хотя она не кричала. — Подойди.

Ярина не подошла. Она стояла на краю площади и смотрела.

Старуха улыбнулась. Зубов у неё было мало.

— Ты боишься, — сказала она. — Правильно. Я бы тоже боялась. Ты видишь свет, девочка. Мы слышим низ. Ты думаешь, это разное?

— Я думаю, это сны, — сказала Ярина. Голос получился чужой, хриплый.

— Сны. — Старуха кивнула, будто соглашаясь. — Сны. Конечно. Ты видишь, как свет убивает. А мы слышим, как внизу просят открыть. Знаешь, что это, девочка? Это одна и та же дверь. Просто ты смотришь на неё сверху, а мы снизу.

Пение на секунду сбилось. Двое сидящих открыли глаза и посмотрели на Ярину. Потом закрыли и снова загудели.

— Откуда вы знаете, что мне снится? — спросила Ярина.

— Я ничего не знаю, — сказала старуха. — Я слепая с рождения. А снов не вижу с тех пор, как из чаши ушла вода. Двадцать лет. — Она похлопала ладонью по камню. — Мне рассказывают. Камень мне рассказывает. Под ним кто-то есть, девочка. Кто-то ждёт. И кто-то идёт к нему с моря. Я слышу шаги. Они далеко. Но идут.

— Кто идёт?

— Тот, кто принесёт ключ, — сказала старуха и отвернулась, будто разговор был закончен. — Иди домой, девочка. Ты замёрзла.

Ярина не заметила, что замёрзла. Вечер был тёплый, с моря тянуло солью и дымом от третьего причала. А у неё дрожали руки.

Путь к Кривой улице лежал мимо главного фонтана. Ярина могла обойти площадь по краю, но не стала: обходить белых значило признать, что они тебя пугают, а её не пугали. Её раздражали. Это разные вещи.

Проповедник как раз закончил и опустил руки. Он был молод, моложе её, с гладким, открытым лицом и светлыми глазами, и, когда Ярина проходила мимо, он посмотрел на неё и улыбнулся. Просто улыбнулся, по-доброму, как улыбаются знакомой. Закатное солнце стояло у него за спиной, низко, над крышами Палаты Весов, и в этом свете его белые одежды казались не белыми, а прозрачными, будто светились изнутри.

Ярина поймала себя на том, что замедлила шаг. Что ей хочется подойти. Спросить что-нибудь. Неважно что. Просто постоять рядом, где тепло.

Она ускорила шаг.

— Сестра, — сказал проповедник ей вслед мягко. — Он и тебя держит. Даже если ты не веришь.

— Спасибо, — сказала Ярина, не оборачиваясь. — Я сама держусь.

Она пошла домой. Не оборачиваясь. За спиной гудели на одной ноте, а у главного фонтана белые снова запели о свете, и два звука сходились над площадью и не смешивались, как масло с водой.

* * *

Вдова Роха ещё не спала. Она сидела в аптеке за прилавком, при одной свече, и толкла что-то в ступке.

— Это старая Ама, — сказала она, не поднимая головы, когда Ярина рассказала. — Слепая. Раньше жила у Солёного мыса, гадала на ракушках. Ничего не угадывала, но рыбаки ходили, потому что смешная. Три недели назад перебралась сюда. Говорит, камень зовёт. — Роха пожала плечами. — Сумасшедшая. Но к ней ходят. Больше, чем к тебе, Соль, уж прости.

— Не прощу, — сказала Ярина. — Она бесплатно.

Вдова хмыкнула.

Наверху, в комнате, Ярина зажгла огарок, села за стол и открыла тетрадь. Записала про старуху. Слово в слово, что запомнила. «Одна и та же дверь. Ты смотришь сверху, мы снизу». «Тот, кто принесёт ключ».

Потом записала номер полки и номер тома из архива, ещё раз, крупно.

Потом долго сидела, глядя на огонёк. За окном, во дворе, шуршала крыса. С гавани ещё тянуло дымом. Где-то далеко, у входа в залив, на вельсарских кораблях били склянки, тонко и ровно, как будто там, на кораблях, всё было в порядке.

Ярина подумала, что если она сейчас ляжет, то увидит женщину с шаром. И руку. И услышит «прости». И ей ужасно не хотелось ложиться.

Она легла.

Двери в круглом зале дышали тихо, как всегда. Женщина в сливовом стояла посреди зала с синим шаром в руках и смотрела на золотую дверь. Но на этот раз, перед тем как она повернулась к двери и потянула за ручку, она повернула голову. В другую сторону. Туда, где стояла Ярина. Туда, где Ярина всегда стояла все двадцать лет, без горла и без тела, и откуда смотрела.

Синие глаза посмотрели прямо на неё.

И женщина приложила палец к губам.

Глава четвёртая
Лоскут

Рена Тарвес. «Неверная», Блуждающее море. Двадцать шестой день после вспышки.

Остров пришёл на рассвете, как приходят пьяные гости, без приглашения и с той стороны, откуда не ждали.

Рена проснулась от того, что «Неверная» перестала качаться. Не остановилась: шхуна шла под одним гротом, тихо, вполветра, как Рена и велела с вечера. Перестала качаться. Как будто под килем вместо воды вдруг оказалось масло. Рена знала это ощущение. Она села в койке, нашарила сапоги, натянула их на босу ногу и выбралась на палубу, ещё не проснувшись толком, на одной злости.

Над водой стоял туман, низкий, по колено мачтам. Вахтенный Пеппи, мальчишка лет пятнадцати, висел на вантах и смотрел на правый борт с открытым ртом. У руля стоял Квинт, штурман, длинный и унылый, как мокрая верёвка, и тоже смотрел на правый борт, только рот у него был закрыт, потому что Квинт был старше и уже знал, что открытым ртом ничего не исправишь.

Рена посмотрела на правый борт.

Из тумана, в полукабельтове, медленно, с достоинством, выплывал остров. Небольшой, шагов триста в длину. Скалистый. На макушке три кривые сосны и развалины чего-то, что было когда-то сторожевой башней, а может, часовней, с моря не разобрать. Под островом вода не плескалась, не била в камни, как бьёт о любой нормальный берег. Вода лежала вокруг острова ровно, гладко, и остров плыл по ней, как плывёт по пруду упавшая доска. Медленно поворачиваясь.

— Кто его звал? — спросила Рена.

— Никто, капитан, — сказал Квинт. — Его нет на карте.

— Его нигде нет на карте, Квинт. Это бродяга.

— Его нет на нашей карте. На утренней.

Рена посмотрела на него. Квинт смотрел на остров. У Квинта был талант видеть всё плохое за три часа до того, как оно случится, и неумение радоваться, когда плохое проходило стороной. Рена держала его за первое и терпела за второе.

— Он нас не тронет, — сказала она. — Бродяги никого не трогают. Им некогда, они гуляют. Убери рулевое на два румба влево и пусть себе плывёт. Пеппи, закрой рот, муха залетит. На этом острове живут мухи размером с твою голову.

Пеппи закрыл рот и посмотрел на неё с ужасом. Рена ухмыльнулась. Она понятия не имела, кто живёт на бродячих островах, но Пеппи был новенький, а новеньких полагалось пугать, пока они не начнут пугаться сами, без помощи.

«Неверная» медленно отвалила влево. Остров проплыл мимо. Когда он был ближе всего, Рена разглядела на камне у воды верёвку. Старую, гнилую, привязанную к ржавому кольцу. Кто-то когда-то швартовался к этому острову. Когда он ещё стоял на месте.

Она отвернулась.

* * *

Блуждающее море начиналось за мысом Последней Надежды, к западу от вельсарского побережья, и тянулось на юг до самого Тиресса. Раньше, говорили старики, здесь было просто море, с течениями, которые знал каждый лоцман, с островами, которые стояли, где им положено, и с портами, которые находились там, где их оставили. Потом, лет сорок назад, говорили старики, что-то случилось. Одни говорили, что умер бог морей. Другие говорили, что бог морей обиделся. Третьи говорили, что старики врут, потому что стариков никто не слушает, а так хоть послушают.

Рена не знала, кто прав. Она знала, что в Блуждающем море течения меняются раз в неделю, а иногда раз в день. Что острова плывут. Что маяк, который вчера стоял на юге, завтра может оказаться на севере, а может не оказаться нигде. Что обычные карты здесь годятся только на растопку, а лоцманы, которые берутся водить корабли по памяти, водят их недолго.

И что у неё есть лоскут.

Она спустилась в каюту, заперла дверь, села на койку и вытащила его из-за пазухи. Лоскут висел у неё на шее на кожаном шнурке, в маленьком мешочке из тюленьей кожи, сшитом ещё матерью. Восемнадцать лет она его не снимала. Только мыла иногда шнурок, когда тот начинал пахнуть.

Сам лоскут был размером с ладонь. Тонкий, вроде пергамента, только мягче, и цвета не жёлтого, как пергамент, а серо-голубого, как вода в пасмурный день. Края неровные, будто его оторвали от чего-то большего. На нём были линии. Чёрные, тонкие, как волос, они изображали берега, мысы, отмели. И они двигались.

Не так, чтобы это было видно глазом. Если смотреть на лоскут, линии стояли. Но если отвернуться и посмотреть снова через час, береговая линия у мыса Последней Надежды оказывалась на волос левее. А через день остров, который был у верхнего края, мог уехать к нижнему. Лоскут показывал не то, как было. Лоскут показывал, как есть. Сейчас.

Мать говорила, что это кусок карты бога. Рена в детстве верила. Потом перестала. Потом, когда остров Сель ушёл в туман и не вернулся, а лоскут на её шее был единственным, что показывало, где он теперь, она решила, что неважно, чей это кусок. Важно, что он показывает.

Сель была внизу, у самого края. Крошечная точка, обведённая узелком: мать нарисовала этот узелок пальцем, обмакнув палец в золу, восемнадцать лет назад, на пристани, когда отдавала Рене лоскут. «Это мы, — сказала мать. — Чтобы ты нашла дорогу домой». Рена тогда засмеялась. Шестнадцать лет, первый рейс, юнгой на чужом корабле, до Тиресса и обратно, три месяца. Она смеялась, а мать смотрела на неё серьёзно, и Рена подумала, что мать просто волнуется, как все матери.

Через три месяца она вернулась. В заливе, где стояла Сель, была вода.

Узелок из золы давно выцвел, но ещё был виден. Точка Сели бродила по лоскуту, как остров по морю, медленно, по своим непонятным путям, то ближе к краю, то дальше. Однажды, лет пять назад, точка подошла так близко к курсу «Неверной», что Рена трое суток гоняла шхуну по туману, не спала, сорвала голос и чуть не посадила команду на мель. Острова она не нашла. Точка ушла.

Рена смотрела на лоскут.

Сель была на месте. Внизу, у края, далеко на юго-западе, куда ходить не стоило.

А наверху, у правого верхнего угла, там, где лоскут кончался рваным краем, было пятно.

* * *

Пятно появилось двадцать шесть дней назад. Рена помнила точно, потому что в ту ночь «Неверная» стояла на якоре у острова Крюк, и весь экипаж был на палубе, когда свет пошёл в точку. Все смотрели в небо. Рена тоже смотрела. А потом почувствовала, как у неё на груди, в мешочке из тюленьей кожи, что-то стало тёплым. Как будто к коже приложили ладонь.

Она тогда спустилась в каюту, вот как сейчас, и достала лоскут. Наверху, у рваного края, появилась точка. Не чёрная, как линии. Тёмная, но с отливом, как у воронова крыла. Маленькая, меньше Сели. И Рена откуда-то знала, хотя на лоскуте не было ни надписей, ни сторон света, что это Кордар. Глубоко, далеко от берега, где-то среди равнин.

Она смотрела на эту точку две недели. Точка не двигалась. Острова вокруг неё двигались, берега ползли, а точка стояла, как вбитый гвоздь. Рена решила, что это какое-то кордарское колдовство, которое её не касается, и почти перестала смотреть.

Три дня назад точка нагрелась.

Рена проснулась ночью от того, что мешочек на груди горячий. Не тёплый, как в ночь вспышки. Горячий, как кружка с травяным отваром, если долго держать её в ладонях. Она вытащила лоскут. Точка у рваного края светилась. Еле заметно, тускло, как уголёк в золе. А от неё к Сели, через весь лоскут, наискось, тянулась линия. Тонкая, тоньше волоса, тоньше всех остальных линий. Не берег и не отмель. Путь.

Лоскут никогда раньше не рисовал путей. Он рисовал берега. Пути Рена прокладывала сама.

Линия шла от точки в Кордаре к побережью, к мысу, который Рена узнала по форме: мыс Соли, за ним Солёная Гавань. От Солёной Гавани линия выходила в море, петляла между бродячими островами, обходила стороной Штиль Мёртвых, который на лоскуте был пустым гладким пятном, где не было ни одной линии, и шла на юг, через всё Блуждающее море, к самому краю лоскута. К Сели.

Рена смотрела на это до утра.

С тех пор она смотрела каждые два часа. Линия не исчезала. Точка в Кордаре светилась. А сегодня утром, когда бродяга выплыл из тумана, Рена поняла, что точка сдвинулась. Чуть-чуть. На ширину ресницы. Не к морю. Пока нет. Но с места.

Гвоздь вытащили.

* * *

Она поднялась на палубу к полудню. Туман сошёл, море было серое, спокойное, с длинной мёртвой зыбью с юга. Бродяги не было видно. Матросы сидели у фальшборта и чинили сеть, хотя сетью «Неверная» не ловила уже лет пять, но Рена считала, что матросы, которые ничего не делают, начинают думать, а матросам думать вредно.

У грот-мачты стоял Тур.

Тур был огромный. Не толстый, а именно огромный: на голову выше самого высокого человека, которого Рена знала, и вдвое шире в плечах. Руки у него были как весла, лицо как у статуи, которую начали рубить из камня и бросили на полпути. Он был с Сели. Он был единственным, кроме Рены, кто был с Сели и не ушёл в туман вместе с островом, потому что в тот день, когда остров ушёл, Тур, тогда ещё мальчишка, ловил рыбу на дальней отмели, и его лодку просто не взяли с собой. Он увидел, как остров уплывает. Он грёб за ним до ночи. Потом его подобрали вельсарские рыбаки. Он не говорил об этом никогда. Он вообще почти не говорил.

Рена подошла к нему и встала рядом, глядя на море.

— Груз, — сказала она тихо.

— Сдадим завтра, — сказал Тур. Голос у него был низкий и редкий, как колокол, в который звонят по большим праздникам. — В Ветлах. Как договаривались.

Груз был под солёной треской, в трюме. Шестьдесят ящиков наконечников для арбалетных болтов, кованых в Вельсаре, для Союза Вольных Земель, который с Вельсарой воевал. Рена считала это хорошей шуткой. Вельсарские кузнецы продавали железо через третьи руки, вельсарские корабли бросали горшки на Ордис, а «Неверная» под вельсарским флагом везла наконечники, которыми Союз будет стрелять в вельсарцев. Все были в выигрыше, кроме тех, в кого попадут. Рену это не касалось. Она возила грузы, а не войну.

— После Ветлов, — сказала она, — идём на север.

Тур помолчал. Потом повернул голову и посмотрел на неё сверху вниз.

— На север куда?

— В Солёную Гавань.

Тур молчал долго. Рена ждала. Она знала, что он скажет, и знала, что он скажет это одним словом.

— Зачем, — сказал Тур.

Рена расстегнула ворот, вытащила мешочек и вложила его в огромную ладонь боцмана, как вкладывают в руку ребёнка птенца. Тур держал его, не открывая. Потом открыл. Посмотрел.

Он смотрел долго. Его лицо, как всегда, ничего не выражало. Только пальцы, держащие лоскут, чуть-чуть дрогнули, когда он нашёл тонкую линию, идущую от Кордара к Сели.

— Дорога, — сказал Тур.

— Дорога.

— Домой.

— Не знаю. — Рена забрала лоскут, сложила, сунула обратно в мешочек. — Может быть. А может, она ведёт к той штуке в Кордаре, и Сель тут ни при чём, просто лоскут не умеет рисовать путь, который никуда не ведёт. Я не знаю, Тур. Но за восемнадцать лет он ни разу не рисовал путей. А теперь рисует. И путь кончается у Сели.

Тур снова стал смотреть на море.

— Команда не пойдёт, — сказал он.

— Команда пойдёт, куда я скажу.

— Кордар воюет с нами.

— Кордар воюет с Вельсарой. Мы с ним не воюем. Мы с ним торгуем. В Солёной Гавани никто не смотрит на флаги, ты сам знаешь. Там смотрят на деньги.

— Осень, — сказал Тур.

Это было уже третье слово подряд, и Рена поняла, что он и правда беспокоится. Осенние шторма в Блуждающем море начинались через месяц, иногда раньше. Ходить к Кордару через пролив в шторма было всё равно что ходить по канату через пропасть с завязанными глазами. Можно. Один раз.

— Успеем, — сказала Рена. — До Ветлов день. От Ветлов до Солёной Гавани, если лоскут не врёт и течения не сойдут с ума, дней пять. Возьмём ту штуку, кто бы её ни держал, и обратно. До штормов.

— А если штука не продаётся.

Рена усмехнулась.

— Всё продаётся, Тур. Просто цена разная.

Тур ничего не ответил. Он стоял у мачты, огромный, неподвижный, и смотрел на море. Рена знала, что это значит. Это значило «да».

* * *

Таможенный куттер показался после полудня, с наветренной стороны, и Рена увидела его раньше, чем Пеппи на вантах успел крикнуть. Узкий, быстрый, с косым парусом цвета ржавчины и с гербом на парусе: серебряная чаша весов на синем. Не флот. Дом Вандерграф. В Вельсаре торговые дома держали собственные таможни, и это было удобно всем, кроме тех, кого досматривали.

— Убрать грот, — сказала Рена. — Лечь в дрейф. Улыбаться.

— Капитан… — начал Квинт.

— Улыбаться, Квинт. Ты умеешь, я однажды видела.

Куттер подошёл борт к борту. Через фальшборт перемахнули четверо: трое матросов с дубинками и офицер. Офицер был молодой, гладко выбритый, в синем камзоле с серебряными пуговицами, и держался так прямо, будто ему в спину вставили линейку. Рена таких любила. Такие верили в правила и поэтому не догадывались, что правила тоже можно купить.

— Капитан Тарвес, — сказал офицер, сверившись с какой-то бумагой. — «Неверная». Порт приписки Кормовая Скала. Груз?

— Треска, — сказала Рена. — Солёная. Для Ветлов. Ветлы любят треску, у них своя не ловится, у них море теперь пресное через день.

— Ветлы — княжество Союза.

— Союз тоже ест, господин офицер. Даже когда воюет.

Офицер поморщился, но кивнул матросам. Двое спустились в трюм. Рена слышала, как они там двигают бочки. Она стояла, сложив руки на груди, и улыбалась так, как улыбаются капитаны, у которых в трюме только треска. Она умела это делать, не думая. Тур стоял у грот-мачты и смотрел на офицера сверху вниз. Офицер старался на Тура не смотреть.

Матросы вылезли из трюма, отряхиваясь. Один сморщил нос и сказал: «Треска, господин». Второй кивнул. Ни один из них не полез под второй ряд бочек. Никто никогда не лез под второй ряд, потому что для этого нужно было вытащить первый, а первый ряд вонял.

Офицер сделал пометку в бумаге.

— Пошлина за проход через воды дома, — сказал он. — Четыре марки.

— Четыре? В прошлом месяце было две.

— В прошлом месяце не было вспышки.

Рена отсчитала четыре марки и, подумав, положила сверху пятую.

— За скорость, — сказала она.

Офицер посмотрел на пятую марку так, будто она была дохлой рыбой. Потом взял. Рена почувствовала к нему что-то вроде нежности: правила у него были, но не железные.

Он уже повернулся уходить, когда что-то вспомнил и обернулся.

— Капитан, — сказал он другим тоном, менее прямым. — Дом Вандерграф скупает старые карты. Любые. Особенно морские. Особенно странные. — Он запнулся, будто ему было неловко повторять чужие слова. — Если попадётся что-нибудь, что… ведёт себя необычно. Дом хорошо платит. Картографическая палата в Кормовой Скале, спросить мастера Адальберта.

— Странные карты? — Рена подняла брови. — Господин офицер, у меня все карты странные. Я их покупаю у пьяных лоцманов. Половина нарисована на салфетках.

Офицер чуть покраснел.

— Мне велено передавать всем капитанам, — сказал он. — Я передал.

Он перемахнул обратно через фальшборт. Куттер отвалил, поставил свой ржавый парус и ушёл на север, легко, быстро, как ласточка. Рена смотрела ему вслед, пока он не стал точкой.

У неё на груди, под рубахой, мешочек из тюленьей кожи был тёплым.

— Им тоже кто-то нарисовал, — сказал Тур за её спиной.

Рена не ответила. Она стояла и думала о том, что дом Вандерграф просит капитанов приносить странные карты не вчера и не неделю назад, а, судя по тому, как устало говорил офицер, уже давно. Двадцать шесть дней, например.

— Поднять грот, — сказала она. — Курс на Ветлы.

* * *

Команде она сказала вечером, когда сдали вахту и все собрались на баке ужинать. Их было восемь, не считая её и Тура. Кок, бабка Сорель, которая была на «Неверной» дольше Рены и которую никто никогда не видел трезвой и никто никогда не видел пьяной. Квинт. Пеппи. Братья Марно, близнецы, которых Рена так и не научилась различать и поэтому звала обоих «Марно». Однорукий Феликс, бывший вельсарский морпех, который потерял руку под Ордисом и не держал на Ордис зла. И двое наёмных из Кормовой Скалы, взятых до Ветлов. Хорошая команда. Жадная, злая, верная до тех пор, пока платят. Рена платила.

Она сказала коротко. Сдаём груз в Ветлах, берём плату, идём в Солёную Гавань. Там есть товар. Какой, она пока не знает. Знает, что дорогой.

Повисла тишина. Бабка Сорель хлебнула из кружки. Пеппи посмотрел на всех по очереди, не понимая, почему все замолчали.

— В Кордар, — сказал Квинт.

— В Солёную Гавань.

— Это Кордар, капитан.

— Это контрабандный порт, Квинт. Ты там был трижды. В последний раз ты там напился и спал под пристанью, и тебя будили кордарские стражники, и ты им продал свои сапоги, чтобы тебя не арестовали.

Кто-то засмеялся. Квинт покраснел, но не сдался.

— Тогда не было войны на море, — сказал он. — Тогда Вельсара не стояла у Ордиса. Сейчас в Солёной Гавани каждый вельсарский корабль под подозрением. Нас задержат. Груз конфискуют, а нас отправят в Каменный Трон на допрос. А оттуда, капитан, не возвращаются.

— Груза у нас не будет, мы его сдадим в Ветлах. А мы будем честными торговцами, пришли за солью. Там у всех соль.

— А осень?

— Успеем.

— А если нет?

Рена посмотрела на него. Квинт выдержал взгляд. Это было смело. Рена это ценила.

— Если нет, Квинт, — сказала она весело, — то ты умрёшь в шторм, а не на берегу от тоски. Это лучше. Я тебе обещаю.

Опять засмеялись. Но не все. Близнецы Марно переглянулись. Феликс смотрел в миску. Бабка Сорель хлебнула ещё.

— Что за товар, капитан? — спросил кто-то из темноты. Рена не разглядела кто.

— Такой, за который нам заплатят столько, что вы до конца жизни будете возить только апельсины, — сказала она. — И пить их сок. С ромом.

— А если не заплатят?

— Тогда я продам вас кордарцам по одному. Пеппи пойдёт первым, он молодой, за него больше дадут.

Пеппи побледнел. Все засмеялись. Даже Квинт.

Рена встала.

— Голосовать не будем, — сказала она. — Это не республика. Кто хочет сойти, сойдёт в Ветлах. С полной долей за этот рейс. Без обид. Кто останется, получит двойную за следующий. — Она помолчала. — Тур остаётся.

Это была её последняя карта, и она её выложила, не глядя. Тур стоял у неё за спиной, огромный, в тени фок-мачты, и молчал. Он ничего не сказал. Ему не нужно было.

Команда смотрела на него. Потом на неё. Потом друг на друга.

— Апельсины, — сказала бабка Сорель задумчиво. — Я апельсинов не ела лет двадцать.

— Будешь есть, — сказала Рена.

— Ну, раз апельсины, — сказала бабка Сорель и протянула кружку, чтобы ей налили.

Ей налили. Потом налили остальным. Потом кто-то затянул песню, старую, про моряка, который женился на русалке и всю жизнь потом жаловался на рыбный запах в постели. Квинт ушёл на ют и встал у руля, хотя была не его вахта. Рена видела, как он стоит там один, длинный и унылый, глядя на север.

Она не стала к нему подходить. Квинт уйдёт в Ветлах. Или не уйдёт. Квинт всегда сначала уходил, а потом возвращался.

* * *

Ночью она снова достала лоскут.

Точка в Кордаре светилась. Тускло, как уголёк. Она сдвинулась ещё на волос, Рена была почти уверена. Линия от неё тянулась к мысу Соли, оттуда в море, петляла между бродягами, обходила гладкое пустое пятно Штиля Мёртвых и уходила на юг, к Сели.

Рена лежала в койке, держа лоскут перед лицом, и смотрела на точку.

— Кто ты такой? — спросила она шёпотом.

Точка, разумеется, не ответила. Но лоскут в ладонях был тёплый, тёплый, как живой, и Рене на мгновение показалось, что под пальцами что-то бьётся. Слабо. Ровно. Как сердце маленького зверька, который спрятался в норе и ждёт, когда пройдёт охотник.

Она сложила лоскут, спрятала его в мешочек, мешочек под рубаху, и легла на спину, глядя в тёмный потолок каюты, по которому шли отсветы фонаря с палубы.

Восемнадцать лет. Двенадцать из них она гоняла «Неверную» по Блуждающему морю, возила всё, что платило, врала всем, кто спрашивал, и смеялась над теми, кто верил. Восемнадцать лет она ни разу не позволила себе думать, что Сель можно найти. Потому что если думать, что можно, то каждый день, когда не нашла, становится днём, когда проиграла. А так она не проигрывала. Она просто возила грузы.

Теперь лоскут нарисовал дорогу.

Она вспомнила Сель такой, какой оставила её в шестнадцать. Одна улица, кривая, от пристани к маяку. Маяк белёный, с красной полосой, которую каждую весну подкрашивал отец Тура. Сети на кольях, сушатся. Запах водорослей, дыма и смолы. Мать на пристани, в синем платке, с пальцем, чёрным от золы. Собака Кнопка, которая всегда провожала лодки до конца пирса и лаяла им вслед, пока не скроются. Восемнадцать лет. Кнопка давно умерла бы от старости. Если там, куда ушёл остров, вообще бывает старость.

Рена закрыла глаза и сказала себе, что идёт за товаром. Что товар дорогой. Что продаст его тому, кто больше заплатит, а на деньги купит новый грот, потому что старый уже весь в заплатах. Что Сель тут ни при чём.

Она очень хорошо умела врать. Всем.

Наверху, на юте, Квинт тихо и фальшиво насвистывал песню про русалку. «Неверная» шла на юг, к Ветлам, под одним гротом, вполветра, и море под ней было обычное, живое, качалось. Где-то за кормой, в темноте, плыл бродячий остров с тремя кривыми соснами и гнилой верёвкой у воды.

Рена уснула под утро. Ей снилась мать на пристани. Мать держала в руке что-то тёплое и говорила: «Чтобы ты нашла дорогу домой». Только на этот раз мать не смотрела на Рену. Она смотрела мимо неё, на север, туда, где у рваного края лоскута тускло светился уголёк. И лицо у неё было серьёзное, как тогда. Как у человека, который знает дорогу, но не может пойти по ней сам, и поэтому отдаёт её в чужие руки.

Глава пятая
Тёплое под холодным

Кассиан. Нижний Вельд, кладбище. Ночь с двадцать третьего на двадцать четвёртый день после вспышки.

Земля была мягкая. Он сам её засыпал двадцать два дня назад и сам утаптывал, потому что могильщик, старый Хуго, в тот день был пьян и не мог держать лопату, а просить кого-то другого Кассиан не захотел. Он помнил, как утаптывал. Как ходил по свежему холму взад и вперёд, медленно, по кругу, будто танцевал какой-то глупый танец, а мать стояла у ограды и смотрела, и Тальберт стоял рядом с ней, и никто ничего не говорил.

Теперь земля легко поддавалась. Лопата входила в неё почти без звука, с тихим влажным шорохом, и Кассиан отбрасывал землю влево, на соседнюю могилу, где лежал какой-то Йорген Шорник, умерший сорок лет назад, и думал, что Йорген, наверное, не обидится.

Он думал о той ночи. Не хотел, но лопата входила в землю, выходила, входила, и между двумя движениями мысли сами возвращались туда, куда он не пускал их двадцать два дня.

Он проснулся тогда от крика. Не материнского. Чужого, с улицы: кто-то кричал за окном, высоко, срываясь, «что это было, что это было, ты видел?», и хлопали двери, и плакал чей-то ребёнок, и лаяли все собаки Нижнего Вельда разом, как лают на пожар. Кассиан поднял голову с одеяла. Шея затекла. Свеча на столе догорела почти до конца, и пламя качалось, тянулось к окну, как всегда. Ветка яблони скреблась о ставню. Всё было как всегда.

Он посмотрел на Лиру.

Она лежала на спине и смотрела в потолок. Глаза открыты. Губы чуть разжаты, как будто она собиралась что-то сказать и не успела. Правая рука на одеяле, сжатая в кулак. Он сначала подумал, что она проснулась от шума, как он, и лежит, слушает. Он даже сказал ей: «Ничего, это на улице». И только потом заметил, что одеяло на её груди не поднимается.

Он не кричал. Он потом много раз думал, почему не кричал. Он был послушником храма Перехода, он видел смерть уже сорок раз, он знал, как она выглядит, и она выглядела именно так. Он просто сидел на табурете и смотрел на сестру, и в голове у него было пусто и очень тихо, как в доме, из которого вынесли всю мебель. А потом он положил ладонь ей на лоб, по привычке, как учил Тальберт, чтобы найти порог и проводить. И порога не нашёл.

Тогда он не понял, что это значит. Он подумал, что опоздал. Что она ушла, пока он спал, давно, и порог уже закрылся за ней, как закрывается дверь, и найти его больше нельзя. Он подумал: проспал. Он сидел на табурете до рассвета, держа ладонь на её лбу, и думал одно это слово, по кругу, как утаптывал потом могилу: проспал, проспал, проспал.

Мать вошла с рассветом. Он не помнил, что она сказала. Помнил только, что она не закричала тоже. Она села на край кровати, взяла Лирину руку, сжатую в кулак, и долго пыталась её разжать, гладила, грела в ладонях, и не смогла. А на улице всё ещё говорили, все сразу, громко, про свет, про небо, про точку над холмами, и никто в Нижнем Вельде в то утро не заметил, что в доме у оврага умерла девочка. В ту ночь у всех было, на что смотреть.

Теперь он понимал, что порога не нашёл не потому, что опоздал. А потому, что порог никуда не ушёл. Он был там же, где она. Открытый. И она стояла в нём. Двадцать два дня.

Он копал быстро. Он сам не ожидал, что сможет так быстро. Руки, которые днём дрожали после мельничихи, теперь работали ровно, как чужие, и спина не болела, и дыхание не сбивалось. Только холод. Холод шёл снизу, из ямы, и чем глубже он копал, тем сильнее становился, и через полчаса Кассиан перестал чувствовать пальцы. Он видел, как они сжимают черенок,

белые, с чёрной землёй под ногтями, но не чувствовал их. Это было не страшно. Это было как во сне, когда смотришь на свои руки и знаешь, что они твои, но не можешь в это поверить.

Звёзды над ним медленно поворачивались. Луны не было. Было светло от звёзд и от чего-то ещё, чего Кассиан не мог понять, пока не понял: от него самого. Не свет. Он не светился, конечно, как не светятся люди. Но он видел яму ясно, каждый комок земли, каждый корешок, перерубленный лопатой, будто глаза у него за эту ночь научились видеть так, как видят кошки. Или как видят те, кто стоит у порога и смотрит назад.

На глубине в рост лопата стукнула о дерево.

* * *

Он остановился. Стоял в яме по грудь и слушал, как в ушах стучит кровь. Медленно. Реже, чем должно бы, после такой работы. Он подумал об этом мельком и сразу забыл.

Гроб был простой, сосновый, из тех, что держал для бедных храм Перехода. Кассиан сам выбирал его на складе за храмом, сам нёс вместе с братом Гервином до дома, сам укладывал в него Лиру. Мать хотела дубовый. Денег на дубовый не было. Лира бы посмеялась: какая разница, сказала бы она, сосна пахнет лучше.

Он расчистил крышку руками. Земля была холодная и сухая, хотя должна была быть сырой, на такой глубине, в середине лета. Сухая и холодная, как зола в погасшем очаге.

Крышку он забивал сам. Шестью гвоздями. Он помнил каждый. Теперь он поддевал их лопатой, по одному, и гвозди выходили легко, с тихим скрипом, будто сами хотели наружу.

На четвёртом гвозде он остановился.

Это неправильно, сказал он себе ещё раз. Тихо, вслух, чтобы услышать собственный голос. Голос был хриплый и спокойный.

— Это неправильно.

Никто не ответил. Звёзды стояли над ямой. Холод снизу поднимался по ногам, по коленям, уже был у пояса. А под холодом, совсем близко, за досками, билось тёплое.

Он вытащил пятый гвоздь и шестой.

* * *

Запах ударил первым. Он знал, что так будет. Он три года служил в храме Перехода и видел мёртвых всяких, свежих и не очень, в жару и в холод. Он знал, что бывает с телом через три недели в середине лета. Он приготовился. Он дышал ртом.

Это не помогло. Ничего не помогло бы. Он стоял на коленях на крышке гроба, держа её край обеими руками, и его выворачивало наизнанку, тихо, мучительно, почти без звука, пока в желудке не осталось ничего, даже желчи. Потом он вытер рот рукавом, поднял голову и откинул крышку.

Она лежала так, как он её положил. На спине, в синем платье, которое мать сшила ей на прошлую весну, на Праздник Первой Травы, и которое Лира надела только раз. Руки сложены на груди. Волосы, тёмные, как у него, как у отца, расчёсаны и уложены по плечам.

Только волосы стали длиннее. Намного. Они лежали теперь не по плечам, а по всему телу, до пояса, до колен, тёмной спутанной волной, и между прядей росло что-то серое, мягкое, похожее на мох, на плесень, на лишайник на старом камне. Серые разводы, которые при жизни были у неё на руках, теперь покрывали всё. Лицо, шею, запястья. Круги внутри кругов, тонкие трещины, светлые и тёмные пятна. Как карта. Как карта страны, в которой Кассиан никогда не был. Серая лихорадка не кончилась, когда кончилась Лира. Она продолжала расти. Ей было всё равно.

Ногти на сложенных руках выросли длинные, загнутые, серые, слоистые, как сланец.

Он смотрел. Он не мог перестать смотреть, и не мог отвернуться, и не мог ничего сделать. Это была не она. Он знал это так же твёрдо, как знал, что у порога не бывает голосов. Это было то, что она оставила, как оставляют платье на стуле. Её здесь не было.

Её здесь не было, но она была рядом.

Сквозняк. Холодный, ровный, бесконечный, он шёл не из гроба, а откуда-то из-за него, из-под него, из того места, куда уходят, и Кассиан, стоя на коленях над сестрой, чувствовал этот сквозняк лицом, как чувствуют ветер, стоя у распахнутой двери. Дверь была открыта. И в двери, в самом проёме, на пороге, стояла Лира. Не видимая. Не слышимая. Но он знал, где она, так, как знаешь, где в тёмной комнате стоит знакомый человек: по дыханию, по теплу, по тому, как меняется воздух.

Она стояла в полушаге. Лицом не к нему, не назад, на жизнь, как стояла Агата. Лицом вперёд. Туда, куда надо идти. И не шла.

Что-то её держало.

Кассиан опустил глаза на сложенные руки сестры.

Правая рука была сжата в кулак.

* * *

Он помнил, как укладывал её. Руки он сложил ей сам, правую поверх левой, ладонями вниз, как положено. Правая тогда была сжата. Он пытался её разжать, чтобы сложить красиво, и не смог: пальцы не поддавались, будто окаменели. Брат Гервин сказал: так бывает, оставь, это последнее усилие, тело его помнит. Кассиан оставил.

Теперь он смотрел на этот кулак. Серый, проросший мхом, с длинными загнутыми ногтями. Под пальцами, между пальцами, было тёплое. Он не видел его. Он чувствовал его так ясно, как чувствуешь на лице солнце с закрытыми глазами.

Он взял её руку в свою.

Рука была лёгкая, сухая и хрупкая, как сухая ветка. Не холодная. Это было первое, что он заметил: не холодная. Всё вокруг было холодное, земля, воздух, его собственные пальцы, а её рука была чуть тёплой, как бывает тёплой рука человека, который только что заснул.

Он разжал ей пальцы. По одному. Они поддавались легко, как поддаются сухие стебли, и он боялся, что они сломаются, и они не сломались. Ногти скользнули по его ладони, мягко, как перья.

В её ладони лежала кость.

Маленькая, длиной с мизинец. Чёрная. Не тёмная, а именно чёрная, как сажа, как зрачок, без блеска. Гладкая. Полая внутри. На боку несколько отверстий, круглых, ровных, как будто их проделали сверлом. Дудочка. Свирель. Как та, что отец когда-то вырезал Лире из бузины, только меньше, только из кости, только чёрная.

Тёплая. Тёплая, как горло птицы, если держать её в ладонях.

Кассиан взял её.

* * *

Тишина пришла сразу.

Не та, что бывает ночью на кладбище, когда шуршит трава, и где-то далеко лает собака, и в соседнем овраге кричит сова. Другая. Пустая. Как вычерпанный колодец. Звуки исчезли не постепенно, а все разом, как будто кто-то перерезал нитку, на которой они висели.

Звёзды над ямой стояли неподвижно. Кассиан смотрел на них и понимал, что они и раньше стояли неподвижно, звёзды всегда стоят. Но теперь они стояли иначе. Как вырезанные из меди. Как пламя свечи, которое не горит, не дрожит, а просто стоит.

Он вспомнил. Нет, не вспомнил. Он не мог этого вспомнить, потому что не видел. Он спал. Но он знал теперь, как это было. Свеча на столе у кровати. Пламя, которое перестало клониться к окну. Пылинка над пламенем, которая не падала. Ветка яблони, застывшая на полпути к ставне. Его собственная спина, которая не поднималась и не опускалась. И Лира, которая лежала, и смотрела на него, и не могла позвать.

Он знал это всё, держа в ладони тёплую чёрную кость, как знаешь сон, который видел кто-то другой. Свирель помнила ту ночь. Свирель была в той ночи. И теперь она держала эту ночь в себе, как держит раковина шум моря.

Он стоял на коленях в яме, в тишине, в которой не было ни звука, и слушал её.

А потом в тишине, в самой её глубине, там, где у порога обычно ничего нет, кто-то вздохнул.

Коротко. Неровно. Совсем рядом.

Кассиан поднял голову.

Сквозняк дул ему в лицо из распахнутой двери, холодный, ровный. В двери, в полушаге, стояла Лира. Он не видел её и знал, что она здесь. Но теперь было иначе. Раньше она стояла лицом вперёд, туда, куда надо идти. Теперь…

Теперь она повернулась.

Он не мог бы объяснить, откуда он это знает. Не видел, не слышал. Просто сквозняк чуть-чуть изменился, как меняется воздух в комнате, когда человек, стоявший к тебе спиной, поворачивается лицом. Она смотрела на него. Через порог. Через все эти дни. Через ту ночь, которую он проспал.

— Лира, — сказал он.

Голоса не было. Губы шевельнулись, а звука не было. Тишина не пускала звуков.

Свирель в его ладони была тёплой, и тепло тянулось от неё куда-то вперёд, в дверь, к порогу, тонко, как нитка. Он почувствовал эту нитку пальцами. Она шла от свирели к сестре. Не держала её, как держит верёвка. Просто связывала. Как связывает тонкая бечёвка, привязанная к ноге ребёнка в толпе на ярмарке, чтобы не потерялся.

Он понял, что если сожмёт свирель крепче, то нитка натянется. И Лира, может быть, сделает шаг. Назад. К нему.

Он сжал.

* * *

Звук вернулся рывком, как возвращается сознание после удара.

Сова в овраге. Шорох травы на краю ямы. Собака далеко. И совсем близко, над головой, чьё-то частое, испуганное дыхание.

Кассиан поднял глаза.

На краю ямы, на коленях, держа в руке фонарь, стоял Мика. Мика был младший послушник, пятнадцать лет, рыжий, весь в веснушках, тощий, с ушами, которые торчали из-под капюшона, как ручки кувшина. Он спал в соседней с Кассианом келье и спал так чутко, что просыпался, если в коридоре мышь перебегала из угла в угол. Он стоял на коленях на краю ямы, держа фонарь обеими руками, и фонарь трясся, и свет от него прыгал по стенкам ямы, по откинутой крышке гроба, по серому, проросшему мхом лицу Лиры.

Мика смотрел на это лицо. Рот у него был открыт, но он не кричал. Он не мог кричать. Кассиан видел, как у него дёргается горло.

— Мика, — сказал Кассиан.

Голос был. Хриплый, сорванный, но был.

Мика перевёл глаза на него. На его руки. На чёрную свирель в его кулаке. Потом снова на лицо Лиры.

— Сестра Оделия… — прошептал он. — Сестра Оделия сказала… приглядывать. Чтобы с тобой ничего… Ты встал. Я слышал, ты встал и пошёл, и я… я пошёл, чтобы ничего… — Он сглотнул. — Кассиан. Что ты делаешь?

Кассиан посмотрел на свою руку. На свирель. На серую, разжатую ладонь сестры, лежащую на синем платье.

Он не знал, что ответить.

— Иди спать, Мика, — сказал он наконец.

Мика смотрел на него ещё мгновение. Потом его лицо сморщилось, как у маленького, и он вскочил, уронив фонарь. Фонарь покатился по краю ямы, не погас, остановился у столбика с именем. Мика бежал. Кассиан слышал, как топочут его сандалии по дорожке между могилами, как скрипит чугунная калитка, как топот удаляется вниз, по переулку, к храму.

Он не побежал за ним.

* * *

Он закрыл гроб. Сначала он хотел сложить ей руки обратно, как раньше, но правая рука, разжатая, больше не хотела сжиматься. Она лежала на синем платье открытой ладонью вверх, как лежит рука у человека, который что-то отдал и теперь отдыхает. Кассиан оставил её так.

Перед тем как закрыть крышку, он наклонился и коснулся губами её лба. Сквозь серый мох, сквозь запах, который он больше не чувствовал. Лоб был не холодный.

— Я приду, — сказал он ей. Не вслух. Туда, через порог, по нитке.

Нитка дрогнула. Или ему показалось.

Он забил гвозди обратно, плоским камнем с края ямы, в те же старые дырки, и каждый удар звучал глухо и далеко, будто доносился из-под воды. Он вылез из ямы и засыпал её. Это заняло больше времени, чем копать. Руки начали уставать. Спина заныла. Холод уходил, медленно, как уходит прилив, и пальцы начинали чувствовать черенок, и это было больно, как бывает больно, когда отогреваешь отмороженные руки у огня.

Когда он утаптывал холм, медленно, по кругу, как двадцать два дня назад, небо на востоке стало серым.

Он сел на землю у столбика, спиной к нему, как садятся у стены в чужом доме, когда ноги не держат. Земля под ним была влажная и тёплая, обычная земля, ночная. Порог ушёл вниз, на свою глубину, но не закрылся. Кассиан чувствовал его, как чувствуют сквозняк из-под двери соседней комнаты: слабее, чем там, в яме, но всё время. И нитка. Нитка тянулась от его ладони, от чёрной кости, вниз, сквозь холм, к порогу, и где-то там, на другом её конце, было тихое тепло.

Он сидел и держал свирель в ладони и не знал, что с ней делать. Поднести к губам? Он подумал об этом и почувствовал, как по коже пробежал холод, не от порога, а от чего-то другого, от понимания, что, если он подует в эту кость, что-то откроется. Что-то большее, чем могила. Он не был готов. Он не знал, к чему не готов, но знал, что не готов.

Где-то в кустах у ограды завозилась птица, первая, ещё сонная, и пискнула. Потом вторая. Над Нижним Вельдом поднимался серый утренний туман с реки.

— Я тебя проспал, — сказал Кассиан тихо, в землю. — Прости. Я больше не буду.

Он не знал, что это значит, «больше не буду». Больше не будет спать? Больше не отпустит? Он не знал. Но нитка на том конце дрогнула, тихо, как дрожит паутина, когда на неё садится роса, и он решил, что Лира поняла лучше, чем он.

Свирель он положил за пазуху, под рясу, к телу. Она лежала там, у сердца, тёплая, и он чувствовал её каждым вдохом. Сердце под ней билось. Медленно. Реже, чем должно бы. Он заметил и это.

Он поднял фонарь Мики, который всё ещё горел, и погасил его. Отнёс лопату в сарай. Дверь на одной петле скрипнула. Он подумал, что надо всё-таки её починить. Потом подумал, что, наверное, уже не успеет.

* * *

У калитки его ждали.

Небо уже было бледное, в розовых полосах, и над колокольней храма висела последняя звезда. В этом сером свете люди у калитки казались вырезанными из бумаги.

Брат Гервин стоял впереди, большой, тяжёлый, в рясе, накинутой поверх ночной рубахи. В руке у него был фонарь, который уже не был нужен. Лицо у Гервина было спокойное, широкое, гладкое, и Кассиан не мог прочитать на нём ничего, кроме усталости.

Чуть позади, справа, стояла сестра Оделия. Маленькая, в сером платке, накинутом кое-как, из-под которого торчали встрёпанные седые волосы. Она не смотрела на Кассиана. Она смотрела ему на грудь. Туда, где под рясой лежала свирель. Как будто видела её сквозь ткань. Глаза у неё были светлые, почти прозрачные, и в них было то, что Кассиан видел вчера на кухне. Жадность. Как у человека в засуху, который увидел колодец.

За ними, за спиной Оделии, прятался Мика. Кассиан видел только край рыжей макушки и одно торчащее ухо.

Тальберта не было.

Кассиан заметил, что Оделия босая. Её узкие, старые ступни, с синими венами, стояли прямо на мокром от росы камне у калитки, и она, кажется, этого не чувствовала. Она выбежала из храма, как только Мика её разбудил, не обувшись, не одевшись толком, и прибежала сюда первой. Гервин пришёл вторым, но успел надеть сандалии и захватить фонарь. Кассиан подумал, что по этому можно узнать о людях больше, чем по тому, что они говорят за ужином.

Кассиан остановился у калитки. Положил руку на холодный чугун.

— Ты вскрыл могилу, — сказал Гервин. Не спросил.

— Да.

— Могилу сестры.

— Да.

Гервин помолчал. Потом медленно кивнул, будто подтверждая что-то, что знал заранее.

— Ты понимаешь, что это значит?

Кассиан понимал. Это значило, что его выгонят из храма. Что об этом узнает город. Что мать узнает. Что его, может быть, побьют на площади, и будут правы. Что мёртвые принадлежат Морвену, а не нам, и наша работа кончается у порога, и он, Кассиан, переступил через порог в ту сторону, куда живым ходить нельзя.

— Понимаю, — сказал он.

— Мика говорит, ты что-то взял.

Кассиан молчал.

— Покажи, — сказала Оделия.

Голос у неё был тихий и дрожал. Не от страха. Кассиан понял это и почувствовал, как по спине поднимается холод, не тот, что от порога, а обычный, человеческий.

— Покажи, мальчик, — сказала Оделия. — Я знала. Я знала, что он оставил. Я говорила Гервину. Я говорила всем. Покажи.

Гервин повернул голову и посмотрел на неё. Долго. Потом снова на Кассиана.

— Отдай, — сказал он. Спокойно. Протянул руку ладонью вверх. Большую, как у кузнеца. — Что бы это ни было, Кассиан. Это не твоё. Оно принадлежит мёртвой. Мёртвое принадлежит Морвену. Отдай, и мы положим его обратно, и закопаем, и прочитаем отпуст. Как положено. И, может быть, этим всё и кончится.

Кассиан смотрел на протянутую ладонь.

Свирель лежала у него на груди, тёплая. Сквозь неё, тонко, как нитка, тянулось что-то туда, назад, на кладбище, за его спину, к свежему холму, к порогу. К Лире. Если он отдаст её, нитка оборвётся. Он не знал, откуда он это знает. Он знал.

— Нет, — сказал он.

Оделия выдохнула. Коротко, будто её ударили. Или будто обрадовалась.

Гервин не опустил руку.

— Кассиан…

— Нет, брат Гервин.

Стало тихо. Над колокольней погасла последняя звезда.

Потом со стороны переулка, медленно, постукивая палкой по камням, подошёл Тальберт. Он был одет полностью, в рясу, подпоясанную верёвкой, и даже очки были на месте, на своей проволоке. Он шёл, не торопясь, и остановился рядом с Гервином, и посмотрел на Кассиана поверх очков. Долго. Потом на свежий холм за его спиной. Потом на его руки, чёрные от земли до локтей.

Он ничего не сказал. Только палка в его руке перестала постукивать.

— Пойдёмте в храм, — сказал он. — Все. Поговорим в храме. Не здесь.

— Он… — начала Оделия.

— В храме, сестра, — сказал Тальберт, и голос у него был такой, каким он говорил с умирающими: спокойный, чуть скучный, не допускающий возражений. — Здесь лежат люди. Им нужна тишина.

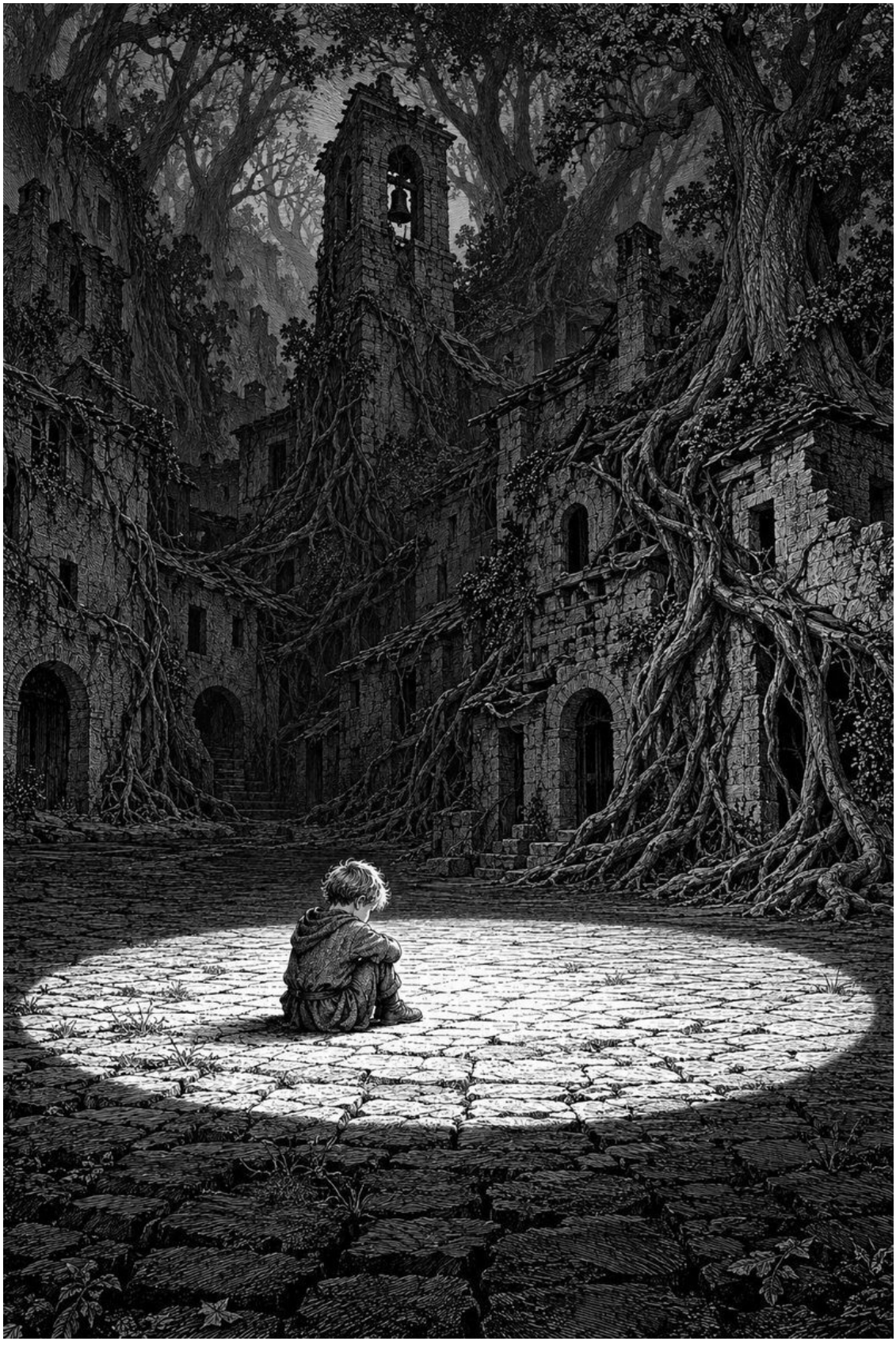
Он повернулся и пошёл обратно по переулку, постукивая палкой. Гервин постоял ещё мгновение, с протянутой рукой. Потом опустил её. Повернулся и пошёл следом. Оделия пошла за ним, оглядываясь на Кассиана через плечо, через каждые три шага. Мика вынырнул из-за её спины и побежал вперёд, не глядя ни на кого.

Кассиан пошёл последним.

Колокол на храмовой колокольне ударил утреннюю. Один раз. Низко. На волос ниже, чем должен был.

И свирель у него на груди, под рясой, от этого звука чуть-чуть вздрогнула. Как вздрагивает во сне собака, которая услышала, что хозяин вернулся.

Глава шестая
Круг света



Сэр Ильяс. Цитадель Рассвет, горы на границе Кордара. Двадцать шестой день после вспышки.

Солнце всходило над Каменным Хребтом в четыре удара сердца, и Ильяс знал каждый.

Первый: край неба над зубцами гор становится не светлым, а тонким. Как будто ночь в этом месте протёрли до дыр. Второй: в дыре появляется золото, узкое, как лезвие, и все сорок человек на восточной стене одновременно вдыхают, не сговариваясь. Третий: свет ложится на камень. На зубцы стены, на плиты под ногами, на лица, и камень, который всю ночь был серым и холодным, на мгновение становится цвета мёда. Четвёртый: свет входит в тебя.

Это нельзя было описать тем, кто не стоял на этой стене. Ильяс пробовал однажды, в юности, когда писал письмо в деревню, которой больше не было, человеку, которого не было тоже, и порвал письмо на третьей строке. Свет не входил в глаза. Он входил в грудь, под рёбра, туда, где у обычных людей живут только страх и дыхание. Входил, как входит тёплая вода в замёрзшие руки, и заполнял пустоту, и пустота переставала быть пустотой. Становилась домом.

Ильяс стоял на стене, раскинув руки ладонями к востоку, как стояли все сорок, и дышал светом.

Справа от него стоял сэр Бертран и, судя по звуку, жевал. Ильяс не повернул головы. Он знал, что Бертран жуёт, потому что Бертран всегда жевал на утренней молитве, корку хлеба, сушёное яблоко, что угодно, и Первый страж Маттиас трижды налагал на него пост, и трижды Бертран постился, и на четвёртое утро снова жевал. «Свет входит в меня, брат, — объяснял он Ильясу, — а хлеб входит рядом. Им не тесно».

Ильяс улыбнулся, не открывая глаз.

Солнце встало целиком. Братья опустили руки. Кто-то из молодых, в конце стены, всхлипнул: так бывало с новичками первые месяцы. Ильяс тоже всхлипывал, в первый свой год. Потом перестал. Свет не стал меньше. Просто он привык.

— Брат Ильяс, — сказал Бертран, сглотнув. — Тебя зовёт старик.

— Когда?

— С ночи. Глубокой ночью, после второй стражи. Ты спал. Старик велел не будить до молитвы. — Бертран вытер губы тыльной стороной ладони. Он был старше Ильяса на десять лет, широкий, с рыжей с проседью бородой и с лицом, которое с первого взгляда казалось добродушным, а со второго хитрым. — Пришло по Зеркальной цепи. Ночью. Из столицы.

Ильяс повернулся к нему.

— По цепи? Не голубем?

— По цепи. — Бертран пожал плечами. — Видимо, важное.

Зеркальная цепь шла от Рассвета до Каменного Трона: восемь башен на вершинах, восемь бронзовых зеркал. Днём братья передавали по ней солнце, ночью, если очень нужно, свет собственных ладоней. Ночная передача стоила дорого, и ночью по цепи шло только то, что не могло ждать.

Ильяс спустился со стены.

* * *

Цитадель Рассвет стояла на скальном уступе, высоко над долиной, где сходились три дороги: одна в Кордар, вторая через перевал к морю, третья на юг, к Тирессу, хотя туда ходили теперь только армейские обозы. Стены были белые. Не от извести: камень здесь был такой, светлый, с вкраплениями слюды, которые на солнце горели, как иней. С равнин Рассвет был

виден за двадцать миль, и, когда солнце вставало над хребтом, цитадель вспыхивала, как маяк. Говорили, что первые братья выбрали этот уступ потому, что сюда раньше всего на Кордаре приходит рассвет. Ильяс не проверял. Он верил.

Он прошёл через нижний двор, где новички уже выстраивались на утренние упражнения, через арку, мимо кузни, где звенел молот, мимо трапезной, откуда пахло овсянкой и мёдом. Кивал тем, кто кивал ему. Многие кивали. Его здесь знали все: он вырос в этих стенах.

У лестницы в Белую башню стоял новичок. Мальчишка лет шестнадцати, в серой куртке послушника, бледный, с красными от бессонницы глазами. Он стоял, прижавшись спиной к стене, и его трясло.

Ильяс остановился.

— Как тебя зовут?

— Йонас, сэр. — Голос у мальчишки срывался.

— Ты первый месяц, Йонас?

— Второй, сэр.

— Тебе плохо?

Йонас открыл рот и закрыл. Ильяс смотрел на него. Не глазами. Ильяс видел людей иначе, давно, с детства, и Стража только научила его называть это словами. Страх у человека был холодным. Как сквозняк. Доверие было тёплым. У Йонаса внутри было холодно, как в погребе. Холод шёл волнами, поднимался из живота к горлу и обратно, и мальчишка не мог ни вдохнуть его, ни выдохнуть.

— Тебе снится свет, — сказал Ильяс. — Тот, что в точку. С той ночи. И ты просыпаешься, потому что во сне тебе хочется, чтобы тебя вытянули целиком. И ты боишься, что это грех. Что ты хочешь умереть.

Йонас уставился на него.

— Откуда вы…

— Это снится всем, Йонас. Мне тоже. — Ильяс положил ладонь ему на плечо. Осторожно, как кладут ладонь на голову испуганной собаки. И сделал то, что делал всегда, не думая, как дышат: впустил в мальчишку немного тепла. Чуть-чуть. Столько, сколько можно впустить в чужого человека, не войдя в него. — Это не грех. Это значит, что ты слышишь свет. Он зовёт тех, кто может слышать. Он не хочет, чтобы ты умер. Он хочет, чтобы ты жил ближе к нему. Понимаешь?

Холод в мальчишке остановился. Потом медленно, как вода в реке весной, начал отступать. Плечи у Йонаса опустились. Он вдохнул. Глубоко, впервые, кажется, за много дней.

— Понимаю, — прошептал он.

— Иди поешь. Сегодня мёд к овсянке. И спи после обеда. Я скажу брату-наставнику, что разрешил.

Йонас кивнул, глотнул воздуха, ещё раз кивнул и пошёл в сторону трапезной. Не побежал. Пошёл. Ильяс смотрел ему вслед, и внутри у него было то тихое удовлетворение, которое бывает у плотника, когда дверь, которая скрипела, вдруг перестаёт скрипеть.

Это было легко. Это всегда было легко. Он делал это с тех пор, как надел белое, и ни разу никто не пожаловался. Наставники говорили, что это дар. Маттиас говорил, что это опасный дар, и учил его, как не переступать черту, как оставлять человеку его собственный страх, если тот нужен ему, чтобы выжить. Ильяс учился. Он очень старался не переступать черту.

Иногда ему казалось, что черты нет. Что можно войти в человека чуть глубже, ещё чуть-чуть, и сделать ему по-настоящему хорошо, навсегда. Он никогда не пробовал. Маттиас сказал: «Если попробуешь, ты станешь не рыцарем Света, а его тенью. А у света не бывает тени, мальчик. Если тень есть, значит, это не свет».

Он поднялся по лестнице.

* * *

Первый страж Маттиас сидел у окна в своей келье, на самом верху Белой башни, и смотрел на восток.

Он был стар. Ильяс не знал, насколько. Ещё тогда, когда Маттиас нёс его на руках через выжженную опушку, Маттиас уже был седым. Сейчас он был белым весь: волосы, борода до середины груди, брови. Левый глаз у него был молочный, слепой. Тридцать лет назад его выжег Искажённый Конфликта, наёмный капитан с южной границы, который воевал с юности и в конце концов стал войной. Маттиас победил его. Говорили, что он стоял перед Искажённым с открытыми ладонями, и свет шёл из него, как из окна, и Искажённый перестал драться. Просто перестал. Сел на землю и заплакал. Маттиас никогда об этом не рассказывал.

Правый глаз у Первого стража был светлый, острый, как у ястреба. Этим глазом он посмотрел на Ильяса, когда тот вошёл.

— Сядь.

Ильяс сел на табурет у стены. Келья была маленькая и голая: кровать, стол, два табурета, полка с книгами. На столе лежал лист, исписанный крупным, ровным почерком. Почерк брата-зеркальщика с первой башни. Он записывал то, что передавали вспышками, и почерк у него был такой, будто он высекал буквы на камне.

— Ты слышал про ту ночь, — сказал Маттиас, и это был не вопрос.

— Как все, Первый.

— Не как все. — Маттиас повернул голову и посмотрел на него в упор своим ястребиным глазом. — Ты видел свет в точку. Ты стоял на этой стене, рядом со мной. Ты помнишь, что ты почувствовал?

Ильяс помнил. Он не любил вспоминать.

— Что меня тянут, — сказал он. — Как всех. И что мне хочется пойти.

— И?

— И что я не пошёл. Что меня держали.

Маттиас кивнул.

— Тебя держали, — повторил он. — Нас всех держали. Подумай об этом, мальчик. Восемь ушли. Небо собралось в точку. Весь мир на миг захотел перейти куда-то и не перешёл. Почему?

— Потому что кто-то держал.

— Потому что кто-то держит. До сих пор. — Маттиас смотрел на восток, туда, где над хребтом стояло солнце. — Один остался. Один держит всё. Небо, землю, нас. Его силы уходят на это, мальчик, каждый день, каждую ночь. И он один. Ты понимаешь, что это значит для нас?

— Что мы должны держать его, — сказал Ильяс. Это были слова из молитвы. Он сказал их, как говорил всю жизнь.

— Что мы должны его защищать. От всех. От тех, кто захочет его убить, потому что поверит старой сказке, что убийца займёт его место. От тех, кто захочет ослабить его, потому что не понимает, что делает. И от тех, — Маттиас взял со стола лист, — кто уже ослабляет его. Своими руками.

Он протянул лист Ильясу.

Ильяс прочитал.

Совет Каменного Трона, словом магистра Северина Алея, Первому стражу Рассвета. В Нижнем Вельде, восточный Кордар, послушник храма Перехода Кассиан, девятнадцати лет, в ночь на двадцать четвёртый день после Знамения вскрыл могилу сестры и похитил из рук покойной предмет неизвестной природы. Храм сообщает: сила послушника после Знамения превзошла силу наставников; от тела его идёт холод; при нём гаснет огонь. Признаки про-

буждения Искажённого Перехода. Храм раскололся и не может удержать его. Взять живым. Предмет — нетронутым, голыми руками не касаться, доставить в Рассвет. Дело срочное. Да хранит вас Свет.

Ильяс перечитал дважды. Потом поднял глаза.

— Искажённый Перехода, — сказал он.

— Возможно. — Маттиас забрал лист и положил на стол, разгладив ладонью. — Или будущий. Ты знаешь, что такое Искажённый Перехода, мальчик?

Ильяс знал. Он видел одного. Давно, на третий год в Страже, в деревне у Каменного Хребта. Старая знахарка, которая полвека провожала умирающих. Её нашли в доме, где она жила одна, и её было… много. Она была в комнате и в сенях одновременно, и на крыльце, и ещё где-то, где её не было видно, но было слышно. Она стояла на пороге между жизнью и смертью и не могла выбрать, и порог раздирал её на части. Её держали трое магов Основы, держали в одном состоянии, пока брат-маг Смерти её не проводил. Ильяс тогда стоял у двери с факелом и держал свет, чтобы в доме не было темно. Он помнил, как она плакала. Сразу из нескольких мест.

— Я знаю, Первый.

— Тогда ты понимаешь, что будет, если такой станет сильнее наставников. И если у него в руках окажется вещь, которую он забрал у мёртвых. — Маттиас помолчал. — Морвен ушёл, Ильяс. Или уходит. Его храмы это чувствуют. Колокола звонят не так. Послушники видят то, чего не должны. Школа Перехода сейчас как река без берегов. А этот мальчик стоит посреди реки и держит в руках то, что выплеснуло.

Ильяс снова посмотрел на лист. Девятнадцать лет. Сестра.

— Он вскрыл могилу сестры, — сказал он медленно.

— Да.

— Зачем?

Маттиас посмотрел на него своим здоровым глазом. Долго.

— Это ты у него и спросишь. Когда возьмёшь. — Первый страж поднялся. Медленно, опираясь на подоконник. — Ты поедешь. Возьмёшь шестерых. Бертрана тоже, он мне надоел. Лошадей лучших. Три дня до Нижнего Вельда, если не жалеть. Не жалей.

— Да, Первый.

— Ильяс. — Маттиас остановился перед ним. Он был ниже Ильяса на полголовы, но Ильясу всегда казалось, что старик смотрит сверху. — Не причиняй ему вреда, если можно. Он мальчик. Он, может быть, ещё не Искажённый. Может быть, он просто горюет и сошёл с ума от горя. Так бывает. Привези его сюда, и мы посмотрим, что с ним делать. Если можно спасти, спасём.

— А если нельзя?

Маттиас положил руку ему на плечо, как Ильяс полчаса назад положил руку на плечо Йонасу. И Ильяс почувствовал, как в него входит тепло. Немного. Ровно столько, сколько нужно.

— Тогда ты сделаешь то, что нужно, — сказал Первый страж. — Как всегда.

* * *

Спускаясь из Белой башни, он встретил на лестнице брата Ансельма, зеркальщика с первой башни. Ансельм поднимался медленно, держась за стену, и Ильяс сначала не узнал его: лицо у брата было серое, как пепел, губы бескровные, а глаза красные и слезились, будто он всю ночь смотрел на солнце. Он и смотрел. Только солнца ночью не было, и ему пришлось быть солнцем самому.

— Брат, — сказал Ильяс и подхватил его под локоть.

— Ничего. — Ансельм слабо улыбнулся. — Ничего. Иду доложить старику, что лист дошёл и что седьмой брат жив. Седьмому хуже. Он держал свет два часа, пока шестой не поймал. — Он помолчал, переводя дыхание. — Я двенадцать лет на цепи, Ильяс. Ночью мы передавали четыре раза. В ночь Знамения. Когда пал Ордисский мост. И когда старый император был при смерти, восемь лет назад, помнишь, а потом выздоровел. И вот теперь. Послушник. Из Нижнего Вельда.

Он покачал головой и пошёл вверх, держась за стену. Ильяс постоял на лестнице, глядя ему вслед.

Он собирался быстро. Годы в Страже научили его собираться быстро. Кольчуга, лёгкая, под белый плащ. Меч. Не длинный, не рыцарский, а короткий, широкий, удобный в тесноте. Нож. Фляга. Мешок с сухарями, сушёным мясом, мёдом в глиняном горшочке. Плотные кожаные перчатки, которых он никогда не носил, но которые сегодня положил сверху, потому что в листе было написано: голыми руками не касаться. Ящичек из светлого дерева, обитый изнутри шёлком, размером с ладонь. Его выдал брат-кладовщик, не спрашивая, для чего.

Бертран зашёл к нему, когда он уже затягивал ремни.

— Едем ловить мальчика, — сказал Бертран, привалившись к дверному косяку. — Великий подвиг. Я напишу о нём балладу.

— Он, может быть, Искажённый.

— Может быть. — Бертран почесал бороду. — А может быть, у него сестра умерла, и он полез в могилу, потому что не мог поверить. Знаешь, сколько таких я видел на Тирессе? Сидят над убитыми и разговаривают с ними. Один парень три дня носил своего брата на спине. Мёртвого. Его не отправили в Рассвет, брат. Его отправили в госпиталь.

— У этого от тела идёт холод.

— У меня тоже, — сказал Бертран. — По утрам, особенно после молитвы, когда я стою на стене без завтрака. Старик не даёт мне завтракать, ты заметил?

Ильяс затянул последний ремень и выпрямился.

— Ты не веришь, что это опасно.

— Я верю, что это опасно. — Бертран вдруг перестал улыбаться. — Я не верю, что это так срочно, что нужно гонять ночью восемь братьев на Зеркальной цепи. Ты знаешь, сколько стоит ночная передача? Брат с седьмой башни после такой ночи три дня лежит пластом. А тут — мальчик и могила. Из какого-то Нижнего Вельда, о котором я до сегодняшнего утра не слышал. — Он помолчал. — И ещё одно, брат. Храм сообщает. Храм в Нижнем Вельде. Голубем, наверное. Голубь летит до столицы день. Потом столица думает. Потом столица пишет. Потом цепь. А письмо пришло этой ночью. Мальчик полез в могилу в ночь на позавчера.

Ильяс посчитал. Получалось. Впритык, но получалось.

— Значит, в столице не думали долго, — сказал он.

— Значит, не думали, — согласился Бертран. — Магистр Алей вообще редко думает долго. Ему не нужно. Он всегда сразу знает, как правильно.

Ильяс посмотрел на него.

— Ты говоришь о магистре Алее, брат.

— Я говорю о магистре Алее с глубочайшим уважением, — сказал Бертран, снова улыбнувшись. — Светлейший из нас. Учитель наследника. Тридцать лет при дворе и ни одной ошибки. Я восхищаюсь им всем сердцем. Пойдём, брат, лошади готовы. Я взял тебе Серого, ты его любишь.

Он ушёл. Ильяс постоял один в келье, глядя на пустую стену.

Бертран был лучшим из братьев, кого он знал. Смелым, честным, смешным. Бертран спас ему жизнь под Ордисом шесть лет назад, вытащив из-под горящей телеги. Бертран умел заставить смеяться даже Маттиаса. И у Бертрана было то, чего Ильяс в нём не понимал и чего боялся: Бертран сомневался. Не в свете. В людях. В тех, кто говорит от имени света.

Ильяс не сомневался. Он стоял каждое утро на восточной стене и чувствовал, как свет входит в него. Как можно сомневаться в том, что входит в тебя каждое утро?

Он взял ящичек из светлого дерева, сунул его в седельную сумку и спустился во двор.

* * *

Он помнил ту ночь лучше, чем помнил своё лицо.

Деревня называлась Брен. Тридцать дворов на опушке старого леса, у подножия Каменного Хребта, с другой стороны. Ему было семь. Он помнил мать, которая пекла хлеб с тмином. Отца, который ходил в лес за дровами и пах смолой. Сестру, которая была старше на три года и дразнила его «Ильяска-пиявка», потому что он всё время за ней ходил. Помнил собаку, рыжую, без имени. Помнил храм Девяти посреди деревни, маленький, деревянный, с девятью вырезанными на двери знаками. Помнил, как в ту ночь лёг спать.

Потом помнил, как проснулся.

Звук. Треск. Не громкий, ровный, со всех сторон, как будто весь мир медленно ломает в руках сухой хворост. Он открыл глаза, и было темно, и в темноте что-то шевелилось. На полу. На стенах. На потолке. Что-то тянулось из щелей между половицами, тонкое, белое, гибкое, и он не сразу понял, что это корни. Корни лезли из пола, как черви после дождя. Корни обвивали ножки кровати. Корни уже лежали на одеяле, на его ногах, и тянулись выше.

Он закричал. Звал мать. Мать не ответила. Из соседней комнаты не доносилось ничего, кроме треска.

Тогда он побежал. Вырвал ноги из-под одеяла, из корней, вывалился в окно, в огород, и побежал к площади, к церкви, потому что в церкви на праздники всегда горели свечи и там всегда было светло. До церкви он не добежал. Корни выползали из земли прямо под ногами, он упал посреди площади на большой плоский камень, на котором по праздникам ставили бочку с квасом, и дальше бежать было некуда.

А потом пришёл свет.

Он не знал откуда. Он никогда не знал. Просто вокруг него стало светло. Не как от свечи, не как от луны. Светло, как бывает в полдень летом, когда стоишь посреди поля и солнце прямо над головой. Свет лёг вокруг него кругом. Ровным, на шаг в каждую сторону. И корни, которые успели доползти до камня, отпустили. Медленно разжались и уползли обратно, в щели, в пол, в темноту. А те, что были за кругом, остановились у его края, как вода останавливается у края стекла.

Он сидел в этом круге до утра. Свет был тёплым. Он не помнил, чтобы ему было страшно. Он помнил только тепло, и тишину внутри круга, и треск снаружи, который продолжался всю ночь, и чувство, которое он потом всю жизнь пытался назвать и так и не назвал. Ближе всего было «меня выбрали». Но это было не то. Это было скорее: «меня увидели».

Утром треск кончился. Круг погас. Ильяс встал и пошёл домой, перешагивая через корни, которые теперь были толстые, тёмные и неподвижные. Деревни не было. Был лес. Молодой, густой, выросший за одну ночь, с деревьями, сквозь которые проступали крыши, стены, колодезный журавль, деревянная дверь церкви с девятью знаками. Он искал мать. Он нашёл дом и нашёл дерево, которое росло в доме. Он больше не искал. Он вернулся на площадь, на свой камень, и сел.

Маттиас нашёл его к полудню. Стража шла дозором вдоль хребта и увидела новый лес. Маттиас потом рассказывал: «Ты сидел посреди того, что раньше было площадью, на камне, и вокруг тебя был круг. Выжженный. Как от костра. Ни одного корня в нём. Ты сидел и ждал. Я спросил, кого ты ждёшь. Ты сказал: того, кто светил. Я сказал: это был он. Тот, кто держит небо. Он увидел тебя и спас. Ты кивнул, будто знал».

Ильяс не помнил этого разговора. Он помнил тепло. И он знал, что Маттиас сказал правду. Кто ещё мог зажечь свет в мёртвом лесу? Кто ещё мог держать круг целую ночь вокруг семилетнего мальчика, когда все остальные, мать, отец, сестра, рыжая собака без имени, умирали в темноте за краем этого круга?

Только тот, кто держит небо.

Двадцать четыре года Ильяс каждое утро стоял на стене и благодарил его. И ни разу не спросил: почему только меня?

* * *

Они выехали, едва солнце оторвалось от хребта. Семеро. Белые плащи, кольчуги, свежие кони. Ворота Рассвета открылись перед ними беззвучно: петли здесь смазывали каждый день. Дорога шла вниз, серпантином, по белому склону, и с каждым поворотом цитадель над ними становилась выше и светлее.

На последнем повороте, перед тем как дорога ушла в лес, Ильяс обернулся.

Рассвет стоял на уступе, белый, сияющий, слюда в его стенах горела на утреннем солнце. На самой верхушке Белой башни, в окне кельи Маттиаса, стояла маленькая фигура. Ильяс не мог разглядеть лица на таком расстоянии. Он знал, что старик смотрит. Он поднял руку.

Фигура в окне не шевельнулась.

— Красиво, — сказал Бертран рядом, тоже обернувшись. — Каждый раз думаю: как же красиво. Никогда не устаю. — Он помолчал. — Знаешь, брат, иногда мне кажется, что, если смотреть на что-то слишком красивое слишком долго, перестаёшь видеть, что у него внутри.

— А что у него внутри?

— Не знаю. — Бертран развернул коня к лесу. — Я же говорю: слишком красиво. Не видно.

Он поехал вперёд, насвистывая. Ильяс посмотрел на цитадель ещё мгновение. Потом тоже развернул Серого.

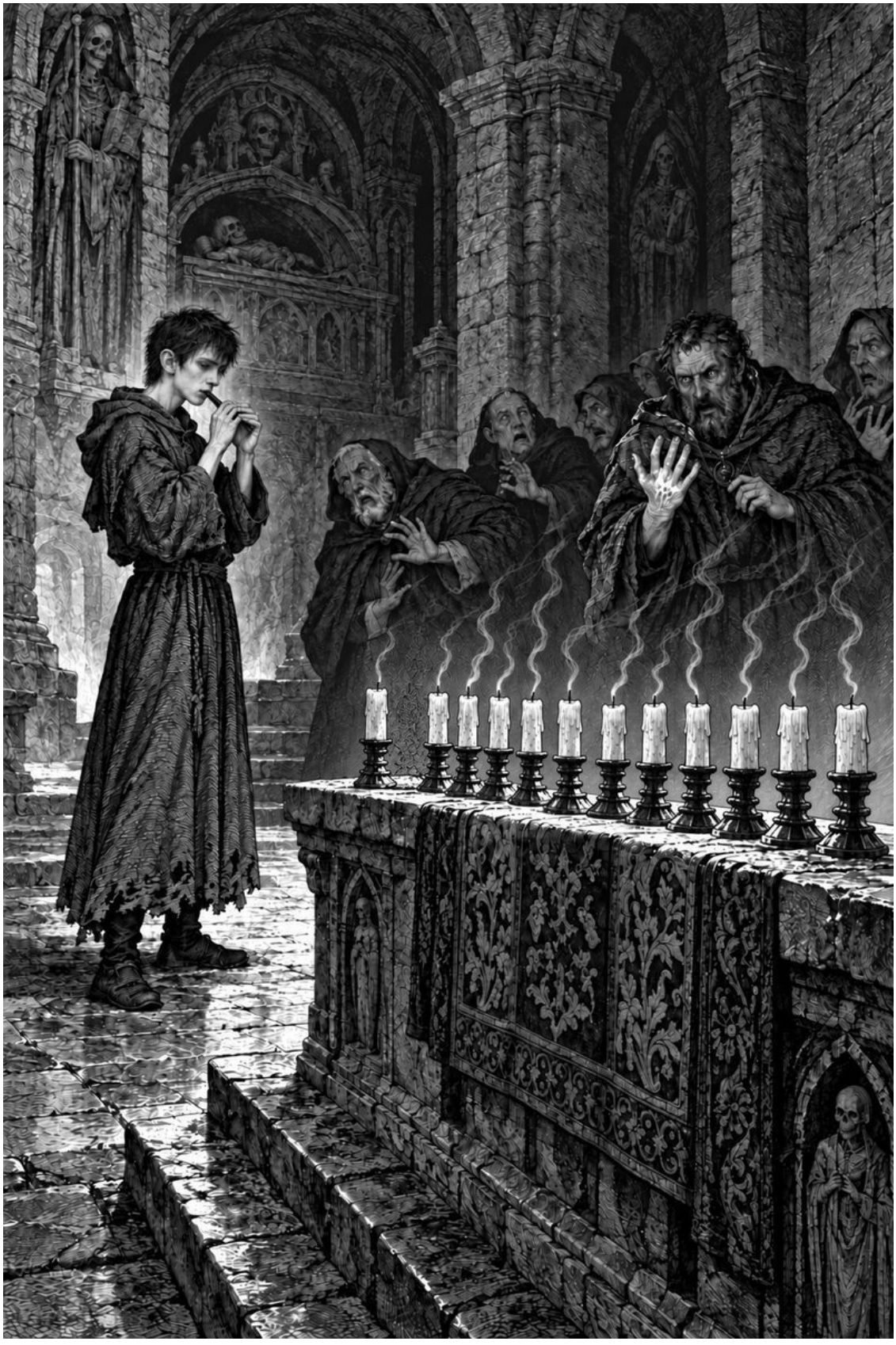
Дорога ушла в лес. Пахло смолой и прелыми листьями. Где-то далеко на востоке, за три дня пути, в городке, о котором он до утра не слышал, мальчик девятнадцати лет держал в руках то, что забрал у мёртвой сестры. Ильяс думал о нём. Не как о враге. Как о том, кто сидит в темноте, и вокруг него трещит, и никто не приходит.

Я приду, подумал Ильяс. Я привезу тебя туда, где светло. И если тебя можно спасти, тебя спасут.

Серый под ним шёл ровной рысью, мерно встряхивая головой. Сзади переговаривались братья, кто-то смеялся. Бертран впереди насвистывал старую песню про моряка и русалку, которую, бог знает почему, знали во всех казармах от Рассвета до Тиресса.

Перчатки лежали в седельной сумке, рядом с ящичком из светлого дерева. Он их так и не надел.

Глава седьмая
Голос кости



Кассиан. Нижний Вельд, храм Перехода. Двадцать четвёртый день после вспышки.

В храме Перехода не было окон в главном зале. Так строили все храмы Морвена: глухие стены, одна дверь на восток, через которую входят живые, и одна, на запад, через которую выносят мёртвых. Западную дверь никогда не запирали. На ней не было ни замка, ни засова, ни ручки, только гладкое тёмное дерево, отполированное ладонями за триста лет, и над ней знак: арка без створок. Открытый проход. Кассиан три года смотрел на этот знак каждое утро и только сегодня понял, что он изображает.

Порог. Просто порог.

Свечи горели вдоль стен, в железных подставках, по шесть с каждой стороны. Пахло воском, полынью и мокрой шерстью: все пришли из росы, и от ряс поднимался лёгкий пар. Скамей в главном зале не было. В храме Перехода не сидели. Стояли, как стоят у постели.

Кассиан стоял посередине, на том месте, где обычно ставили носилки.

Он понял это не сразу, а когда понял, ему стало смешно, и он испугался, что засмеётся вслух. Он стоял на месте покойника. Перед западной дверью. А вокруг, полукругом, как стоят родственники, стояли все, кто жил в этом доме: брат Гервин справа, тяжёлый и неподвижный, сестра Оделия слева, уже обутая, в платке, завязанном как следует, трое младших послушников у стены, сбившись плечом к плечу, Мика посередине, бледный до синевы. Тальберт стоял у восточной двери, прислонившись к косяку, будто зашёл ненадолго и вот-вот уйдёт.

Руки Кассиан так и не отмыл. Земля засохла на них до локтей серой коркой и при каждом движении сыпалась на пол.

— Мы собрались, — сказал брат Гервин, — потому что случилось то, чего в этом храме не случалось никогда.

Голос у него был ровный и низкий, такой же, каким он читал отпуст. Кассиан слышал этот голос сотни раз и всегда думал, что Гервин читает отпуст лучше всех в храме: без слёз, без лишнего, так, что мёртвому, наверное, было удобно его слушать. Сейчас этот голос говорил о нём.

— Послушник этого храма, — сказал Гервин, — ночью вскрыл могилу. Открыл гроб. Взял из рук покойной то, что было с ней погребено. Он сделал это сам, без благословения, без свидетелей, тайно. Это видел брат Мика.

Мика вздрогнул, услышав своё имя.

— Брат Мика, — сказал Гервин мягче. — Скажи, что ты видел.

Мика открыл рот. Посмотрел на Кассиана. Закрыл рот. Глаза у него налились слезами.

— Я видел… — Голос сорвался. — Я видел, что он стоял в яме. И гроб открыт. И она… сестра… она была… — Он замолчал. Его плечи затряслись. Один из послушников, Ласло, длинный, белобрысый, неловко положил ему руку на спину.

— Довольно, — сказал Гервин. — Спасибо, брат.

Он повернулся к Кассиану.

— Ты не отрицаешь?

— Нет.

— Ты взял вещь из рук мёртвой.

— Да.

— Покажи её.

Кассиан не двинулся.

В зале стало тихо. Свечи горели ровно, без треска. Где-то в саду за стеной кричала сорока.

— Кассиан, — сказал Тальберт от двери. Негромко, не меняя позы. — Покажи. Здесь никто не станет её отнимать. Ты в храме.

Кассиан посмотрел на него. Тальберт смотрел поверх очков, спокойно, чуть устало, как смотрел на него в первый день, когда мать привела его сюда за руку. *Ну, заходи.*

Он сунул руку за пазуху, нашёл тёплое и вытащил.

Он держал свирель на раскрытой ладони, серой от засохшей земли, и чёрная кость на этой ладони казалась ещё чернее. Как дыра. Как будто в ладони у него было не что-то, а отсутствие чего-то, аккуратное, гладкое, с круглыми отверстиями на боку.

Сестра Оделия шагнула вперёд.

Она сделала это так быстро, что никто не успел ничего сказать. Маленькая, стремительная, она в два шага оказалась рядом с ним и остановилась, вытянув шею, как птица над водой, и смотрела на свирель. Не трогала. Смотрела. Губы у неё шевелились.

— Кость, — прошептала она. — Чёрная кость. Ты знаешь, что говорится в «Слове о Переходе», мальчик? Ты читал. Ты должен был читать. «И у порога он поставил стража из кости своей, и кость эта черна, ибо смотрит в ту сторону, где нет света».

— Это о надгробиях, — сказал Гервин за её спиной. — Это всегда понимали как надгробия, сестра.

— Это всегда понимали как надгробия, потому что никто не видел другого! — Оделия резко обернулась. Её светлые глаза горели. — Ты видишь? Ты видишь, Гервин? Колокол звонит иначе. Порог стал ближе. Агата Мельничиха говорила с ним перед смертью. А теперь он приносит из могилы чёрную кость, которая… — она снова повернулась к свирели и вдруг протянула к ней руку, — …которая тёплая. Она же тёплая. Я отсюда чувствую.

Кассиан отвёл руку.

Он сделал это не думая, как отдёргивают руку от огня. Оделия замерла с протянутыми пальцами. Посмотрела на него.

— Не надо, — сказал он.

— Почему?

Он не знал, как объяснить. Он чувствовал нитку. Она тянулась от свирели назад, через стены, через сад, вверх по склону, к холму, к порогу. Тонкая, живая. Когда Оделия протянула руку, нитка натянулась. Не сильно. Как натягивается бечёвка, когда кто-то чужой подходит к ребёнку в толпе.

— Она держит Лиру, — сказал Кассиан.

Стало очень тихо.

— Что? — спросил Гервин.

— Лира на пороге. — Кассиан говорил медленно, подбирая слова, как подбирают камни, чтобы перейти реку. — Она не перешла. Двадцать два дня она стоит на пороге и не может уйти. Я думал, что опоздал, что её больше нет… А её не отпустили. Вот это. — Он чуть приподнял ладонь. — Оно было у неё в руке. И от него к ней что-то тянется. Нитка. Если отдать, нитка оборвётся. Я не знаю, что тогда будет. Может быть, она уйдёт. А может быть… — Он запнулся. — Может быть, она так и останется. Одна. Без нитки.

Он перевёл взгляд на Тальберта. Тальберт снял очки и тёр переносицу.

— Ты чувствуешь её, — сказал Тальберт, не надевая очков. Не вопрос.

— Да.

— Сейчас?

— Да. Отсюда. Слабее, чем у могилы. Но да.

Тальберт надел очки. Посмотрел на Гервина.

Гервин стоял неподвижно. Его широкое лицо было спокойным, но Кассиан, который три года видел, как Гервин читает отпуст над детьми, над стариками, над утопленниками, над

людьми, которых привозили по частям, знал, что такое спокойствие у Гервина бывает только тогда, когда внутри у него что-то держится из последних сил.

— Это то, о чём я говорил, — сказал Гервин тихо. — Ты понимаешь, мальчик? Это и есть то, о чём я говорил всё время. Мы провожаем. До порога. Не дальше. Не держим. Никогда. Если мы держим, мы перестаём быть проводниками и становимся… — Он не договорил. Он смотрел на Кассиана, и в его глазах было что-то, чего Кассиан раньше не видел. Не гнев. Жалость. — Твоя сестра стоит на пороге с той самой ночи, потому что её держат. Ты сам это сказал. Ты держишь её этой вещью. Ты её не отпускаешь.

— Я её не держал. Она была у неё, когда я…

— А теперь держишь ты. — Гервин сделал шаг вперёд. — Отдай. Мы отнесём это обратно. Вложим ей в руку. Прочитаем отпуст. Полный, как положено, со вторым кругом. И она уйдёт. Как уходят все. Ты хочешь, чтобы она стояла там вечно?

Кассиан не ответил.

Он не знал, чего он хочет. Он хотел, чтобы Лира не стояла одна. Он хотел, чтобы она перешла. Он хотел, чтобы она вернулась. Он хотел всё сразу и ничего из этого не мог.

— Гервин прав в одном, — сказала Оделия. Голос у неё стал тихим и очень ясным, как у проповедника, который нашёл свою мысль. — Девочку держат. Но держит не мальчик. Держит та вещь. А вещь эта не человеческая, братья. Не храмовая. Ей не триста лет и не тысяча. Посмотрите на неё. — Она обвела зал рукой. — Чёрная кость. Тёплая в ночь, когда земля холодна. Найдена у той, что умерла в ночь, когда умер наш бог.

— Наш бог не умер, — сказал Гервин.

— Ты сам в это не веришь, брат. Ты не веришь в бронзу. Ты слышишь колокол так же, как я. — Оделия повернулась к нему. — Морвен ушёл. Или уходит. Но перед тем как уйти, он что-то оставил. Здесь. В Нижнем Вельде. В руке у мёртвой девочки. И это нашёл послушник нашего храма. Ты понимаешь, что это значит? Это знак. Это ему оставлено. Не нам. Ему. — Её палец, сухой и узловатый, указывал на Кассиана. — Его надо вести не к могиле. Его надо вести в Каменный Трон. К императору. К совету. Чтобы весь Кордар узнал, что Морвен не оставил нас.

— Его надо вести в покаянную, — сказал Гервин. — И молиться, чтобы он не стал тем, о ком нам рассказывали в учении.

— Искажённым? — Оделия засмеялась коротко, почти зло. — Посмотри на него. Он мальчик, у которого умерла сестра.

— Я на него и смотрю. — Гервин не повысил голоса. — Посмотри на его руки, сестра. Он копал всю ночь. Один. Яму в рост. За ночь. Сколько ты знаешь людей, которые выкопают за ночь могилу в рост, один, а потом закопают обратно? Посмотри на его лицо. Посмотри на губы. Они синие. На дворе середина лета, а у него синие губы. Агата говорила, что под ним холодно. — Он повернулся к Тальберту. — Ты сам это видишь, отец. Ты полжизни в храме. Ты видишь лучше нас всех. Скажи им.

Все повернулись к Тальберту.

Тальберт долго молчал. Потом отошёл от двери и медленно, постукивая палкой, прошёл через зал. Остановился перед Кассианом. Взял его левую руку, ту, в которой не было свирели, грязную, с землёй под ногтями, и положил два пальца ему на запястье.

Он держал так долго. Кассиан видел, как шевелятся губы Тальберта. Он считал.

Потом отпустил.

— Сорок два, — сказал Тальберт. Ни к кому. В пространство. — У взрослого мужчины после тяжёлой работы должно быть девяносто. У спящего — шестьдесят. Сорок два.

Он посмотрел Кассиану в лицо.

— Ты сам знаешь, что с тобой?

— Нет.

— Я тоже не знаю. — Тальберт повернулся к остальным. — Ни один из вас не знает. Гервин не знает. Оделия не знает. В «Слове о Переходе» про это ничего нет, кроме одной строчки, которую каждый толкует, как ему удобно. Я провожаю людей с тех пор, как был моложе Кассиана, и никогда такого не видел. — Он помолчал. — Но я видел Искажённых. Двоих. И у них не было сестёр, к которым тянется нитка. У них не было ничего. Они были пустые, как выеденная скорлупа, и холод из них шёл во все стороны, а не в одну. А у этого мальчика холод идёт в одну сторону. К могиле.

— Это ничего не доказывает, — сказал Гервин.

— Это ничего не доказывает, — согласился Тальберт. — Я просто говорю, что вижу.

* * *

Они спорили ещё долго.

Кассиан стоял на месте покойника и слушал, как решают, что с ним делать. Это было странное чувство. Он часто стоял у постели умирающих, когда родственники шёпотом спорили в сенях, звать ли ещё лекаря или звать уже жреца, продавать ли корову на похороны или занять у соседа, кто будет сидеть ночью. Он всегда думал: умирающий слышит. Он не может ответить, но слышит. Теперь он знал, каково это.

Гервин хотел отнести свирель обратно в могилу и запереть Кассиана в покаянной на сорок дней, на хлебе и воде, пока он не отмолит. Оделия хотела везти Кассиана в Каменный Трон, вместе со свирелью, сейчас же, сегодня, с письмом от храма к совету, с рассказом о знаке. Тальберт хотел подождать. Младшие послушники хотели, чтобы всё это кончилось. Мика плакал.

Гервин говорил, что, если вести мальчика в столицу, его там разорвут: в столице теперь проповедуют Солнечные, а Солнечные говорят, что Морвен держит мёртвых, а живых держит другой, и что живым нечего лезть к мёртвым. Оделия говорила, что Солнечные — ересь, а ересь не может разорвать знак. Гервин говорил, что ересь разорвала многих. Оделия говорила, что Гервин трус и всегда был трусом, что он всю жизнь читает отпуст, потому что боится сказать мёртвым что-то другое. Гервин побледнел и замолчал.

И тогда Оделия сделала ещё один шаг к Кассиану.

— Покажи им, — сказала она. — Покажи, что она может. Если это знак, он даст себя увидеть. Подуй в неё, мальчик.

— Нет, — сказал Тальберт резко. Впервые за всё утро резко.

— Почему нет? Если это просто кость из могилы, ничего не будет. А если нет…

— Сестра, — сказал Тальберт. — Ты не знаешь, что это. Я не знаю. Он не знает. Когда не знаешь, что за дверью, в неё не стучат.

— А я хочу знать! — Голос Оделии зазвенел и сорвался. — Я всю жизнь хочу знать! Всю жизнь я стою у порога и смотрю, как они уходят, и ни разу, ни разу, Тальберт, не видела, куда! Ни разу наш бог не дал знака, что он там есть! А теперь, когда он ушёл, он оставил что-то — и ты говоришь не стучать?

— Я говорю не стучать, — сказал Тальберт тихо.

Гервин шагнул вперёд.

Он сделал это молча, тяжело, как делал всё, и Кассиан не сразу понял, что он делает. Большая рука Гервина, рука кузнеца, которая никогда не держала молота, легла ему на запястье. На правое. На то, в котором была свирель.

— Хватит, — сказал Гервин. — Хватит спорить над ним, как над покойником. Я сам отнесу её. Сейчас. И сам прочитаю отпуст. А потом пусть его судит, кто хочет.

Пальцы сжались.

Нитка натянулась.

Это было больно. Не в руке, не в запястье, где сжимал Гервин. Где-то глубже, там, откуда шла нитка, куда он сам никогда не заглядывал. Как будто из Кассиана тянули жилу. И на другом конце, далеко, за стенами, за садом, на холме, кто-то вздрогнул. Он почувствовал это так ясно, как будто Лира стояла рядом и вскрикнула ему в ухо.

Он не решал. Он не думал. Рука сама поднялась, вместе с рукой Гервина на запястье, легко, будто Гервин ничего не весил. И кость оказалась у губ.

Он подул.

* * *

Звука не было.

То есть звук был, но не такой, какой бывает у дудочки. Не свист. Не нота. Что-то, что началось ниже слуха, там, где кончается всё, что можно услышать ушами, и вошло прямо в кости. В рёбра, в зубы, в пол под ногами, в стены храма. Звук был похож на колокол, только колокол этот звонил не здесь. Далеко. По ту сторону. И звонил низко, так низко, как не звонит ни один колокол, отлитый человеком.

Свечи погасли.

Все двенадцать. Разом. Не задуло, не сбило пламя. Пламя просто перестало быть. Так перестаёт быть мысль, когда её забываешь. И в зале без окон стало темно.

И холодно.

Холод пришёл не снизу, как у Агаты. Отовсюду. Он заполнил зал целиком, как вода заполняет яму, и Кассиан почувствовал, что стоит не на полу храма, а на пороге. Не на своём, не на Лирином. На каком-то общем, огромном, длинном, как берег реки. В темноте перед ним была река. Он её не видел, но знал: широкая, тихая, в тумане. И на берегу, в тумане, кто-то стоял. Не один. Много. Ряды. Неподвижные. Те, кто не перешёл.

Ближе всех стояла Лира.

Она была в полушаге. Он не видел её лица, но видел её: маленькая, в синем платье, босая на холодном берегу, и правая рука, раскрытая, ладонью вверх, тянулась к нему. Нитка шла от её ладони к его губам, к кости, натянутая так, что звенела.

Он перестал дуть.

Звук оборвался. Не затих, а оборвался, как обрывается верёвка. Берег исчез. Река исчезла. Лира исчезла, и он почувствовал, как она отступает назад, на свой полушаг, и нитка снова провисает, тонкая, тёплая, живая.

Он стоял в темноте и дышал.

Кто-то рядом тоже дышал. Часто, мелко. Кто-то всхлипнул. Кто-то, кажется, стоял на коленях: Кассиан слышал, как по камню прошуршала ткань.

Рука Гервина на его запястье разжалась.

* * *

Свечи зажигали долго. Огниво у Ласло не высекало искры, руки тряслись. Наконец Тальберт взял у него огниво, и с первого удара полетели искры, и затеплился трут, и от трута зажгли одну свечу, и от неё вторую.

В свете двух свечей Кассиан увидел их всех.

Мика сидел на полу у стены, обхватив колени руками, и смотрел в одну точку. Ласло стоял рядом с ним, белый, как его волосы. Третий послушник, тихий Тоби, прятался за Ласло и шептал молитву, сбиваясь на каждом слове. Гервин стоял там же, где стоял, с опущенной рукой. Рука у него дрожала. Он смотрел на свою ладонь так, будто впервые её видел. На ладони, там, где он держал запястье Кассиана, кожа была белой, как от мороза.

Оделия стояла на коленях.

Она стояла на коленях на каменном полу, сложив руки на груди, и лицо у неё было мокрое, и она улыбалась. Кассиан никогда не видел, чтобы Оделия улыбалась так. Так улыбаются дети, которым наконец показали то, что им обещали.

— Ты видел, — прошептала она. — Ты видел, Гервин. Ты чувствовал. Это он. Это его голос. Это его колокол.

Гервин не ответил.

Тальберт зажёг последнюю свечу и поставил огниво на подставку. Потом медленно подошёл к Кассиану. Взял его за руку, за левую, снова положил два пальца на запястье. Держал долго. Губы его шевелились.

— Тридцать, — сказал он наконец. Очень тихо, так, чтобы слышал только Кассиан.

Он не отпустил руку.

— Что ты видел? — спросил он, так же тихо.

— Реку, — сказал Кассиан. Губы плохо слушались. Они были холодные, будто он долго пил ледяную воду. — Берег. И на берегу… много. Все, кто не перешёл. И Лиру. Она протягивала руку.

Тальберт кивнул. Медленно, как кивают, когда слышат то, чего боялись.

— Больше не дуй в неё, — сказал он. — Слышишь меня, мальчик? Пока не поймёшь, что открываешь. Не дуй.

— Я не хотел. Он взял за руку, и нитка…

— Я знаю. Я видел. — Тальберт сжал его запястье чуть сильнее. — Ты не хотел. Это и страшно. Ты не хотел, а она открылась.

* * *

Решение приняли к полудню.

Его приняли без Кассиана: его вывели в сад и оставили сидеть на скамье у колодца под присмотром Ласло, который стоял в трёх шагах и боялся подойти ближе. Кассиан сидел и смотрел на свои руки. Земля на них потрескалась и осыпалась, и под ней кожа была белая, с синеватыми ногтями. Он пытался согреть их дыханием, и дыхание тоже было холодным.

Сорока на старой груше смотрела на него одним глазом, потом другим. Потом улетела.

Он думал о реке. О береге. О рядах неподвижных людей в тумане. Сколько их там? Все, кто умер в ту ночь? Все, кого не проводили? Все, кто стоял на пороге, когда Морвен… Он не знал, как закончить эту мысль. Морвен что? Ушёл? Умер? Оделия говорила, что оставил знак. Солнечные на площади говорили, что Морвен держит мёртвых. Но если держит, почему они стоят на берегу, как люди на переправе, когда паромщик не пришёл?

Лира стояла ближе всех. Потому что у неё нитка, понял он. Остальных ничего не держало, они просто не могли перейти. А Лиру держала нитка, и она стояла у самого края, у самой воды, и не уходила ни вперёд, ни назад.

Ты держишь её этой вещью, сказал Гервин.

Он сжал свирель в кармане. Тёплая.

Если отдать, нитка оборвётся. И тогда Лира будет стоять на берегу, как все остальные. Без нитки. Одна. Может быть, перейдёт. Может быть, нет. Может быть, никто из них больше не перейдёт, потому что паромщика больше нет.

Он не отдаст.

Он подумал это спокойно и твёрдо, как думают вещи, которые уже решены, и удивился, как легко это далось.

Дверь храма скрипнула. Вышел Тальберт. Он подошёл, опираясь на палку, и сел на скамью рядом, тяжело, как садятся старики, не уверенные, что встанут. Ласло отступил ещё на шаг.

— Ну, — сказал Тальберт. — Слушай.

Кассиан слушал.

— Гервин отправил голубя в Каменный Трон. В совет. Магистру Алею, он у них там ведает храмами и всем, что касается магии. Гервин написал, что послушник храма Перехода вскрыл могилу и взял вещь, что сила его превзошла наставников, что от него холод и при нём гаснет огонь, и что храм не может его удержать и просит помощи. Это всё правда, мальчик. Каждое слово. Я читал.

Кассиан молчал.

— Оделия тоже отправила письмо. Сама, своим голубем, у неё есть свой, она держит его на чердаке, думает, никто не знает. Императору лично. Что в Нижнем Вельде явлен знак Морвена. Что Морвен оставил ключ и послушника, который может им владеть. Это тоже правда. По-своему. — Тальберт вздохнул. — Ни одно из этих писем не я бы написал. Но писем два, и оба полетели в одно место. Через день будут там.

— А что потом?

— Потом кто-то в Каменном Троне прочтёт их. Оба. И решит, что ты такое: Искажённый или знак. — Тальберт снял очки и протёр их. — Я думаю, они решат, что опасный. Так решают всегда, когда не понимают. Опасное проще. С опасным понятно, что делать.

— И что делать?

— Пришлют кого-нибудь. — Тальберт надел очки. — Скорее всего, Стражу Солнца. Они ведают Искажёнными. Они хорошо это умеют, надо отдать им должное. Лучше, чем мы.

Кассиан смотрел на колодец. Над водой в срубе поднимался лёгкий пар: день был жаркий, а вода холодная.

— А пока?

— А пока тебя запрут. В нижней келье, в покаянной. Гервин настоял, и я не стал спорить, потому что тут он прав: ты сейчас опасен. Не потому, что Искажённый. Потому что не знаешь, что у тебя в руках, и тебя может кто-нибудь схватить за запястье, и ты опять подуешь. — Тальберт помолчал. — Вещь останется при тебе. Никто не захотел её брать. Гервин сказал, что не коснётся мёртвого. Оделия сказала, что недостойна. По-моему, они оба просто боятся, и правильно делают.

— А ты?

Тальберт посмотрел на него поверх очков.

— Я тоже боюсь, мальчик. Я старый, мне можно. — Он поднялся, опираясь на палку. — Ключ от покаянной будет у меня. Я сказал, что сам буду носить тебе хлеб и воду. Пусть хоть это будет у меня.

* * *

Покаянная была внизу, под трапезной, четыре ступени вниз, узкая каменная келья с зарешечённым окошком под самым потолком, выходящим на уровень земли. Через окошко было видно траву, корень старой груши и полоску неба. Кровать — доска на двух камнях. Ведро. Кувшин воды. Свечу ему не дали.

Он и не просил.

Когда дверь закрылась и в замке повернулся ключ, он лёг на доску, на спину, как лежала Лира, и вытащил свирель. Держал её на груди. В темноте она была ещё чернее темноты, и он видел её. Глаза уже привыкли видеть так, по-кошачьи. Или по-другому. Он не хотел думать, как именно.

Сквозь решётку окошка тянуло вечером: травой, теплом, дымом из чьей-то трубы. Где-то в городе лаяла собака. За стеной, наверху, в трапезной, ходили, переставляли миски, говорили тихо. Потом затихли.

Потом над головой, на колокольне, ударил вечерний колокол. Один раз. Низко.

Свирель на груди вздрогнула, коротко, как от сквозняка.

И нитка, тянувшаяся от неё через стены, через сад, вверх по склону, к холму, дрогнула тоже. Тихо. Как будто там, на другом конце, на холодном берегу, кто-то тоже услышал колокол и поднял голову.

Позже, когда стемнело совсем, у двери зашуршало. Кто-то сел на ступени снаружи. Кассиан слышал дыхание, тяжёлое, старое.

— Ты спишь? — спросил Тальберт через дверь.

— Нет.

— Хорошо. Я тоже нет. — Пауза. — Я принёс хлеб. Утром дам. Сейчас не открою, Гервин не спит, слушает.

Кассиан молчал.

— Когда мне было девятнадцать, — сказал Тальберт за дверью, — я тоже хотел знать, куда они уходят. Как Оделия. Я каждые проводы смотрел им вслед. Думал: вот сейчас увижу. Вот на этот раз. Сорок лет смотрел. Ни разу не увидел. — Он помолчал. — А ты увидел сегодня. Реку. Берег. Мне завидно, мальчик. Мне и страшно, и завидно. Вот так.

Кассиан лежал в темноте и держал свирель.

— Отец Тальберт, — сказал он. — Если её отдать, Лира перейдёт?

Долго не было ответа.

— Не знаю, — сказал Тальберт. — Может быть. А может быть, она там не потому, что её держат. А потому, что некому проводить. Ты видел других. Их ведь никто не держит.

— Нет.

— Ну вот. — Старик закряхтел, вставая. — Спи, если сможешь. Если не сможешь, лежи и слушай. И утром расскажешь мне, что услышал. Мне одному. Хорошо?

Шаги на ступенях. Шаги наверху. Тишина.

Кассиан не спал. Он лежал и слушал, как в темноте, очень далеко, на той стороне, течёт тихая река.

Глава восьмая
Подпись задним числом

Дарен. Каменный Трон. Двадцать седьмой день после вспышки.

Паж постучал до рассвета, когда за окном ещё не было ни неба, ни двора, только тёмное стекло и в нём сам Дарен со свечой.

— Магистр просит ваше высочество к себе, — сказал паж. — Говорит, бумаги. Говорит, отец ваш не встанет.

Дарен оделся, не зовя слугу. В коридоре было холодно, как бывает только в домах, которые строили на века и не думали о тех, кто будет в них жить. Он шёл и думал не о бумагах, а о том, что отец не встал. Позавчера, после ночи в Старой картографической, Альдрен не вышел к утреннему докладу. Вчера к нему пустили только лекарей. Сегодня, значит, тоже.

Дворец знал это раньше него. Дарен видел это по тому, как стражники на переходах отводили глаза, а горничная у бельевой, увидев его, присела глубже обычного, как приседают перед тем, кто, может быть, скоро станет кем-то другим.

Он не хотел становиться кем-то другим. Ещё нет.

Северин ждал его не в кабинете, а у двери, в коридоре, со свечой. Магистр был одет, причёсан и свеж, будто не ложился вовсе или лёг и встал в положенный час, как встают люди, у которых нет ни больного отца, ни больного колена.

— Простите, что так рано, — сказал он. — Лекари у его величества с ночи. Ничего страшного, они говорят, усталость, сердце. Я бы просил вас его не тревожить до вечера. Но есть бумаги, которые нельзя отложить. Совет решил по храмам и по Ласку в день вашего доклада, а без подписи короны всё это стоит. Вы можете подписать за отца, ваше высочество. Вы имеете на это право, когда он нездоров.

Дарен имел. Он подписывал за отца два раза в жизни: один раз, когда Альдрен болел восемь лет назад, а второй раз неделю назад, приказ о назначении нового смотрителя дорог, потому что отец в тот день уехал в Северный монастырь. Тогда Дарен ещё не знал, зачем отец ездит в монастырь.

— Пойдёмте, — сказал он.

* * *

Кабинет Северина был в южной башне, на третьем ярусе, и окна его выходили на восход. Дарен был здесь много раз, ребёнком и потом. Он знал каждую вещь: длинный стол из светлого дуба, стеллажи с книгами до потолка, большой глобус, на котором Тиресс был нарисован ещё без половины рек, медная подзорная труба на треноге у окна, которую ему в детстве разрешали трогать по праздникам. Пахло здесь всегда одинаково: старой бумагой, воском и чем-то сухим и чистым, как пахнет бельё, высушенное на солнце.

Светло здесь было всегда. Даже вечером. Даже зимой.

Северин сел за стол и пододвинул к нему стопку листов.

— Распоряжение о казённом зерне, — сказал он. — То, что ваш отец объявил на совете. Брандт оформил. Обоз третий день стоит у Северных ворот: без подписи короны обоз не отпускают, а ваш отец… сами знаете. Назначение Ласка уполномоченным по Сухим Лугам, с правом распоряжаться зерном на месте. Указ храмам Девяти о проповедях на площадях: церковь про-

сила запретить Солнечных, совет решил не запрещать, но требовать разрешения городского головы. Это, по-моему, мудро. Запрет только разозлит людей.

Дарен читал. Он читал всё, что подписывал. Этому его тоже научил Северин, давно, в этом же кабинете: «Человек, который подписывает не читая, отдаёт своё имя другим. А имя у человека одно». Распоряжение о зерне было правильным: первый обоз отправлялся сейчас, следующие должны были идти регулярно, до весны. Назначение Ласка — тоже, хотя Дарен приписал бы к нему право на отчёт перед короной раз в месяц. Он сказал об этом. Северин тут же кивнул, взял перо и приписал, ровным красивым почерком, на полях. Указ о проповедях был мягче, чем хотелось бы Церкви Девяти, и жёстче, чем хотелось бы Солнечным. Дарен подумал, что так и надо.

Он подписывал. Перо скрипело.

— И ещё вот это, — сказал Северин. Он вынул из папки лист, отдельно от остальных, и положил перед Дареном. — Это пришло позавчера. Из храма Перехода в Нижнем Вельде. Голубем. Это восточный Кордар, на реке Вельде, в трёх днях пути отсюда, если по дороге.

Дарен взял лист. Почерк был крупный, тяжёлый, нажимистый, будто писавший давил на перо всей рукой.

…послушник храма сего, именем Кассиан, девятнадцати лет, в ночь на двадцать четвёртый день вскрыл могилу родной сестры своей, умершей в ночь Знамения, и взял из рук покойной вещь, нам неведомую. Сила его после той ночи превзошла силу наставников. От тела его идёт холод, губы синие, сердце бьётся медленно. При нём гаснет огонь. Вещь он не отдаёт. Храм наш раскололся и не может его удержать. Смиренно просим помощи, ибо боимся, что видим начало того, о чём учит нас «Слово» в главе об Искажённых…

Дарен дочитал. Положил лист.

— Брат Гервин, — сказал Северин. — Старший брат храма. Я его не знаю, но, судя по письму, человек трезвый. Такие не пишут в столицу, пока не станет совсем плохо.

— Вскрыл могилу сестры, — повторил Дарен.

— Да.

— Зачем?

— Этого храм не пишет. — Северин развёл руками. — Может быть, горе. Девочка умерла в ту ночь, а он, как я понимаю, был при ней. Знаете, ваше высочество, в ту ночь много кто умер. И много кто остался рядом и ничего не смог сделать. — Голос у магистра стал тише. — Горе делает людей изобретательными. Иногда страшно изобретательными.

Дарен подумал о женщине на мешке у рыбных рядов. О часовне с синей крышей, которая ушла под землю. О старосте Лосиного Брода, у которого он пил кислое пиво.

— И что совет решил?

— Совет по этому делу не заседал. Не успели бы. — Северин положил перед ним второй лист. — Это я решил сам, позавчера ночью. От имени совета. У меня есть такое право, когда дело касается магии и храмов и не терпит отлагательства. Но такое решение должна утвердить корона в течение трёх дней. Иначе оно теряет силу. Сегодня третий день.

Второй лист был копией приказа. Дарен прочитал:

Совет Каменного Трона, словом магистра Северина Алея, Первому стражу Рассвета…

Дальше было то же, что в письме, только короче и суше. «Признаки пробуждения Искажённого Перехода». «Взять живым». «Предмет нетронутым, голыми руками не касаться, доставить в Рассвет».

— Стража Солнца, — сказал Дарен.

— Да.

— Не наши? Не городская стража Нижнего Вельда?

— Городская стража Нижнего Вельда — это четверо стариков с алебардами и один капрал, ваше высочество. — Северин чуть улыбнулся. — Если мальчик и правда пробужда-

ется, они ничего не смогут. А если не пробуждается, они его просто изобьют, потому что весь город будет знать, что он полез в могилу. В таких городках к этому относятся… однозначно. Стража умеет с этим. Они ведают Искажёнными сто лет. Они отвезут его в Рассвет, там на него посмотрят люди, которые знают, на что смотреть. Если он болен, его вылечат. Если просто горюет, отпустят. Это лучшее, что можно для него сделать.

Дарен смотрел на лист. Что-то в нём царапало, и он не мог понять что. Наверное, слово «предмет». Или «голыми руками не касаться».

— А что за вещь?

— Храм не знает. — Северин пожал плечами. — Может быть, ничего. Может быть, игрушка, с которой девочку похоронили. Может быть, оберег. Мальчик убеждён, что это важно, и не отдаёт. Знаете, ваше высочество, в ту ночь много кто начал видеть знаки. Вы же слышали Остевина: по всему Кордару колокола звонят не так, проповедники собирают толпы, люди видят свет, слышат голоса. — Он помолчал. — Был ещё один голубь. Оттуда же.

Он достал третий лист. Маленький, мятый, исписанный бисерным, торопливым почерком, с кляксами.

— От сестры того же храма, — сказал Северин. — Его величеству лично. Я взял на себя смелость не беспокоить им вашего отца. Прочтите, вы поймёте почему.

Дарен прочитал.

…Знак Морвена явлен в Нижнем Вельде! Бог наш не оставил нас, Ваше Величество, он ушёл, но перед уходом оставил ключ, и ключ этот в руках юноши, которого сам Морвен избрал! Чёрная кость, тёплая, как живая, и она звучит, как колокол того берега, и гаснет пред ней всякий огонь, ибо огонь здешний перед светом того мира ничто! Молю Ваше Величество взять юношу под свою руку и не дать ереси…

Дальше было ещё полстраницы в том же духе. Буквы в конце налезали друг на друга.

Дарен опустил лист.

— Ключ, — сказал он.

— Женщина напугана, — сказал Северин мягко. — И, наверное, уже немолода. Старшие сёстры в маленьких храмах часто живут слишком долго одни со своей верой. Им нужно, чтобы бог подал знак. Вот он и подал. — Он взял у Дарена мятый листок, аккуратно сложил его вдвое и положил в папку. — Я отвечу ей. Сам. Тепло. Скажу, что его величество благодарит за весть и что дело поручено тем, кто знает, как поступить. Ей станет легче.

Он сказал это с такой спокойной добротой, что спорить было не с чем. Конечно, подумал Дарен. Напуганная старая женщина в маленьком храме. Напуганный брат, который пишет тяжёлым почерком. Мальчик, у которого умерла сестра. Всё понятно. Всё очень по-человечески.

— Где подписать?

Северин показал. Внизу, под ровными строчками, было пустое место, а рядом, на полях, его рукой: «Утверждаю. За его величество — наследник Дарен». И дата.

— Двадцать пятый день, — сказал Дарен.

— Задним числом, — кивнул магистр. — Так положено. Утверждение короны должно стоять тем же днём, что и решение совета, иначе в архиве будет путаница. Я, если честно, не люблю это правило. Но правила придумывали не мы.

Дарен обмакнул перо.

Он подумал ещё раз о слове «предмет». И о том, что мальчику девятнадцать лет, на девять лет меньше, чем ему. И о том, что в Марке, когда у старосты Бжеги утонул сын, староста неделю ходил на реку и звал его по имени, и никто не считал его Искажённым, его просто поили и укладывали спать.

Потом подумал, что Северин прав. Что Стража лучше, чем четверо стариков с алебардами и толпа. Что в Рассвете знают, на что смотреть.

Он подписал.

Перо скрипнуло. Чернила легли ровно, без клякс.

— Спасибо, — сказал Северин и взял лист. Посыпал песком. Подул. Аккуратно положил в папку, туда же, к письму сестры. — Мальчика, я думаю, привезут недели через две. Если хотите, я распоряжусь, чтобы вам сообщили, что с ним.

— Хочу, — сказал Дарен, сам не зная зачем.

— Сообщат.

* * *

Он уже встал, когда Северин сказал, не поднимая глаз от папки:

— Ваш отец в ночь после совета долго не ложился. Слуги говорят, поднимался в Старую картографическую.

Это было сказано так же ровно и спокойно, как всё остальное. Северин завязывал тесёмки на папке и не поднимал глаз.

— Он позвал меня туда, — сказал Дарен.

— Да? — Магистр поднял голову и улыбнулся. — Я так и подумал. Я видел свет в окне. Он давно туда не поднимался. Я обрадовался, честно говоря. Там хорошие карты, старые. Вы помните? Я показывал вам там, как текли реки.

— Помню.

— О чём он говорил с вами?

Вот оно, подумал Дарен.

Он не готовился к этому вопросу. Он думал, что подготовится, позже, вечером, когда будет время. Теперь вопрос был задан, и Северин смотрел на него через стол, тепло, внимательно, с той лёгкой улыбкой, с какой смотрел, когда восьмилетний Дарен никак не мог понять, почему корабль не тонет. И Дарену захотелось сказать. Сразу и всё. Про переговоры. Про Илиссу. Про тридцать одну тысячу. Про север и юг на старой жёлтой карте. Северину можно сказать. Северину всегда можно было сказать, с восьми лет, всё, и Северин всегда понимал, и всегда находил слова, после которых становилось легче.

Желание было таким сильным, что у Дарена пересохло во рту.

Никому. Даже ему.

Колено заныло. Ровно, тупо, привычно, как ныло на девяностой ступени и на Сухой реке, когда лёд пошёл.

Дарен вдохнул.

— О Тирессе, — сказал он. — О Корвине. О том, почему два полка, а не четыре. Он сказал, что я хорошо говорил на совете. Что я посчитал мешки.

Это была правда. Не вся, но правда. Каждое слово.

Северин смотрел на него. Мгновение. Два. Потом кивнул, будто поставил в уме галочку на полях.

— Вы и правда хорошо говорили, — сказал магистр. — Я рад, что он это сказал вам. Он редко говорит такие вещи. Даже мне.

Он встал, обошёл стол и положил руку Дарену на плечо. Лёгкую, тёплую. Так он делал, когда Дарен был маленьким.

— Идите отдыхать, ваше высочество. Вы с рассвета на ногах. И колено берегите. Я пришлю вам мазь, у меня есть хорошая.

— Спасибо.

На лестнице, спускаясь, Дарен обнаружил, что у него вспотели ладони. Он остановился на площадке и вытер их о плащ.

Он солгал Северину. Не словами, а тем, что не сказал. Впервые в жизни. Ему было двадцать восемь лет, и он впервые в жизни скрыл что-то от человека, который научил его читать.

Он ждал, что почувствует себя предателем. Он почувствовал только усталость и, где-то на дне, очень далеко, что-то похожее на облегчение. Как будто в комнате, где он прожил всю жизнь, вдруг нашлась дверь, которую он раньше не замечал.

Бумаги для Ласка лежали у него под мышкой. Он пошёл к Северным воротам сам.

* * *

У Северных ворот пахло лошадьми, мокрой соломой и дымом. Обоз стоял вдоль стены третий день, и возчики успели обжиться: между телегами горели костерки, на оглоблях сохли портянки, кто-то варил в котелке что-то бурое. Двадцать четыре телеги под серым небом. Казённое зерно, которое три дня никуда не ехало, потому что старый человек в постели не мог взять в руку перо.

Наместник Морен Ласк сидел на козлах первой телеги, одетый для дороги, в старый кожаный дублет и сапоги до колен, и при виде наследника не встал, а только выпрямился.

— Ваше высочество, — сказал он. — Мы тут, знаете, уже почти деревня.

— Знаю. — Дарен протянул ему бумаги. — Назначение. Распоряжение по амбарам. И приписка: отчёт перед короной раз в месяц. По моему требованию.

Ласк прочитал приписку и поднял брови.

— Раз в месяц, — повторил он. — Из Лугов до Трона в распутицу две недели. Мне придётся писать, не успев получить ответ на прошлое письмо.

— Пишите, — сказал Дарен. — Мне не нужны ответы. Мне нужно знать, сколько у вас осталось.

Ласк посмотрел на него долго, без обиды, с тем выражением, которое Дарен видел у старост в Марке, когда они понимали, что этот наследник приехал не на неделю и не для того, чтобы его угощали.

— Ваш предшественник в Марке, — сказал Ласк, — говорят, ни разу не вылез из кареты.

— Говорят правду.

— А вы, говорят, пересчитывали общинные амбары руками.

— Тоже правду.

Ласк хмыкнул, спрятал бумаги за пазуху и махнул возчикам. Костерки затоптали. Кто-то выплеснул бурое из котелка в канаву. Телеги, одна за другой, со скрипом пошли в арку.

У самой стены, на мешковине, сидели люди. Дарен не сразу понял, кто это: не нищие, не торговцы, не паломники. Женщины, старики, дети, узлы, корзины, коза на верёвке. Они смотрели на уходящий обоз так, как смотрят на корабль, который уходит без тебя.

— Откуда? — спросил Дарен у ближайшего, старика с перевязанной рукой.

— С Лугов, ваше… господин. — Старик не знал, как его называть. — Из Овсяниц. Пришли за хлебом. А хлеб, вон, обратно к нам поехал.

Он сказал это без злости, даже с каким-то удивлением, будто речь шла о погоде, которая решила пойти не туда.

Дарен постоял рядом. Потом пошёл к начальнику стражи у ворот и велел, чтобы людей с Лугов пускали на Нижний рынок и кормили из гарнизонного котла, пока совет не решит иначе, а если начальник хочет бумагу, пусть придёт к наследнику и получит её. Начальник стражи посмотрел на него так, будто наследник предложил кормить коз.

Бумагу он не попросил.

Девятьсот шестьдесят мешков. Первый обоз для тридцати тысяч человек. Помощь была рассчитана до весны — если следом будут приходить остальные. Если зерно не пропадёт в дороге. Дарен смотрел, как последняя телега исчезает в утреннем тумане за аркой, и думал,

что он только что подписал за отца четыре бумаги, и одна из них — хорошая. Про остальные он не думал. Он думал о старике из Овсяниц.

* * *

Отец позвал его к вечеру.

Альдрен лежал в постели, высоко на подушках, и выглядел так, будто за один день постарел на пять лет. Лицо серое, губы бледные, под глазами тени. Рядом на столике стояли склянки, пахло валерьяной и чем-то горьким. Лекарь, маленький, чёрный, суетливый, неодобрительно посмотрел на Дарена и вышел.

— Садись, — сказал отец.

Дарен сел на табурет у постели.

— Ты подписал Северину бумаги?

— Да.

— Хорошо. Он всегда знает, что подписывать. — Альдрен закрыл глаза. — Что там было?

— Зерно. Ласк. Проповеди. — Дарен помолчал. — И какой-то послушник в храме Перехода в Нижнем Вельде вскрыл могилу сестры. Храм испугался, что он пробуждается. Северин послал Стражу. Я утвердил.

— Бедный мальчик, — сказал Альдрен, не открывая глаз.

— Да.

— В ту ночь… — Отец замолчал. Потом продолжил, медленно, с паузами: — Я в ту ночь стоял у окна. Здесь. Когда свет пошёл в точку. И знаешь, о чём я подумал? Я подумал о твоей матери. Что она тоже это видит. Где-то. Глупость, конечно. Она двадцать лет как… — Он открыл глаза. — Мальчик, который полез в могилу сестры. Я его понимаю. Пусть Стража будет с ним помягче.

— Северин сказал, что, если он просто горюет, его отпустят.

— Северин так сказал? — Альдрен чуть улыбнулся. — Ну значит, отпустят.

Он полежал молча. Потом повернул голову и посмотрел на Дарена в упор, и глаза у него, несмотря на серое лицо, были ясные и острые, как у человека, который только что проснулся и сразу вспомнил всё, что надо сделать.

— Монастырь прислал брата, — сказал отец тихо. — С утра. Брат передал мне на ухо, пока лекарь гремел склянками. Она будет на сороковой день.

Дарен посчитал. Тринадцать дней.

— Сороковой день после Знамения, — сказал Альдрен. — В Северном монастыре будут поминать всех, кто ушёл той ночью. Соберётся весь северный Кордар. Тысячи паломников. Никто не заметит ещё одну женщину в сером платке. Никто не заметит, если старый император приедет помолиться за умершую жену. И если с ним приедет сын. — Он снова закрыл глаза. — Я поеду, если встану. Если нет, ты поедешь один. Ты знаешь, что сказать.

— Я не знаю, что сказать.

— Скажешь то, что сказал на совете. Про мешки. Про треть мешка, которую съедает море. Про тех, кто идёт к столице. Она поймёт. Она дочь купца, она считает мешки лучше нас обоих. — Альдрен слабо махнул рукой. — Условия ты знаешь. Они плохие. Попробуй сделать их чуть менее плохими. Хотя бы на ладонь. Хотя бы на одну провинцию Союза, которую не придётся резать пополам.

— Я попробую.

— Попробуй. — Отец помолчал. — Северин спрашивал тебя?

Дарен не сразу ответил.

— Да.

— И?

— Я сказал, что мы говорили о Тиессе. О Корвине. О мешках.

Альдрен посмотрел на него долго. Потом сделал то, чего Дарен не видел, кажется, с детства: протянул руку и положил её поверх руки сына. Рука была сухая, лёгкая и холодная.

— Тяжело? — спросил он.

— Да.

— Мне тоже. — Альдрен убрал руку. — Ему я скажу сам. Скоро. Когда будет что сказать. Он поймёт. Он всегда понимает. Просто… — Император помолчал, глядя в потолок. — Просто я тридцать лет делаю то, что он советует. И почти всегда это правильно. И я вдруг подумал, сын, в ту ночь, у окна: а что я сам сделал за эти тридцать лет? Что из этого моё? — Он усмехнулся. — Иди. Мне надо спать, а то этот чёрный меня отравит своей валерьяной.

* * *

Ночью Дарен не спал.

Он лежал в своей комнате, на третьем этаже западного крыла, и слушал, как стоит дворец. Дворец стоял тихо. Где-то внизу перекликалась стража. Где-то далеко, в городе, пели: не Солнечные, пьяные, на одной из улиц у Нижнего рынка. Он пытался думать о сороковом дне, о том, что скажет Илиссе Вандерграф, которую никогда не видел. О том, как сделать плохие условия на ладонь лучше. Мысли путались.

Он думал о старике из Овсяниц, у которого хлеб уехал обратно. О людях на мешковине у стены. О том, хватит ли гарнизонного котла на неделю.

О мальчике в Нижнем Вельде он не думал. Он подписал и забыл.

Под утро, когда небо за окном уже стало серым, он встал напиться. Подошёл к окну. Окно выходило на восток, на внутренний двор, на крыши восточного крыла, и над ними, на самой высокой точке дворца, торчала тонкая башенка Зеркальной цепи. Восьмая башня. Последняя. Дарен видел её каждый день и никогда не смотрел на неё: зеркала работали днём, ловили солнце, и вспышки их были частью дворцового пейзажа, как голуби на карнизах.

Сейчас солнца не было.

А в башенке вспыхнул свет.

Дарен смотрел. Короткая вспышка. Пауза. Длинная. Две короткие. Пауза. Свет был белый, ровный, не похожий на факел. Он вспыхивал и гас, вспыхивал и гас, и где-то там, далеко на востоке, на гребне холма, через несколько ударов сердца ему ответила крошечная, едва видная искра. Седьмая башня.

Ночью по цепи передают только то, что не может подождать. Дарен знал это, как знал все дворцовые правила, с детства.

Он стоял у окна и смотрел, как вспыхивает свет в восьмой башне. Минуту. Две. Потом свет погас и больше не загорался. Небо за башенкой стало розовым. Где-то во дворе закричал петух.

Наверное, с Тиресса, подумал Дарен. Корвин. Или Ордис. Что-нибудь срочное.

Он лёг обратно и наконец заснул. Заснул крепко, без снов, как не спал с тех пор, как вернулся из Марки, и проспал до полудня. Когда проснулся, на столе у кровати стояла маленькая глиняная баночка с мазью для колена. Он не слышал, чтобы кто-то входил.

Про вспышки он не вспомнил.

Глава девятая
Двадцатая сажень

Ярина Соль. Ордис, архив Палаты Весов.
Двадцать восьмой день после вспышки.

Три дня Ярина искала Порог и нашла только бондарей.

Бондари были везде. В реестрах гильдий, в судебных книгах, в протоколах совета, в жалобах соседей. Бондари Ордиса за четыреста лет успели задолжать всем, поссориться со всеми и судиться со всеми, кроме разве что весовщиков, с которыми они судились отдельно, в особой книге, заведённой специально для этой цели при прадеде мастера Пула. Ярина знала теперь о бондарях больше, чем любой бондарь. Она знала, что в год Большого пожара гильдия бондарей отказалась поставить городу бочки для воды, потому что город не заплатил за бочки, поставленные в год Малого пожара. Она знала, что один бондарь по имени Кульм в позапрошлом веке подал в совет жалобу на собственную жену за то, что та «пела громко и неблагозвучно, тем возбуждая в соседях сомнения в его, Кульма, супружеском счастии». Совет постановил жене петь тише.

О Пороге она не знала ничего, кроме одной строки.

Ниже двадцатой сажени не копать. Там Порог.

Бурые чернила. Узкий, наклонный почерк, совсем не похожий на квадратную руку писца, который вёл перечень колодцев. Приписка на полях. Кто-то когда-то открыл эту книгу, нашёл в ней колодец на Площади Весов и решил, что следующему, кто откроет, надо знать. Больше ничего. Ни подписи, ни даты.

На третий день, в тридцатом томе протоколов совета за годы, которых никто не помнил, она нашла ссылку. Одну. Посреди долгого спора о налоге на гвозди.

О колодезном деле см. Закрытый фонд, опись третья.

Ярина посмотрела на эту строку. Потом посмотрела на дальнюю стену архивного подвала, на низкую железную решётку, за которой начинались ступени вниз, во второй подвал. Решётка была заперта двадцать лет. Ключ от неё висел у мастера Пула на поясе, вместе с ключом от его комнаты, ключом от Палаты Весов и маленьким медным ключиком, про который никто не знал, от чего он.

Мастер Пул сидел за своим столом и складывал столбцы.

— Мастер Пул, — сказала Ярина.

— М-м.

— Что в Закрытом фонде?

Пул не поднял головы. Губы его продолжали шевелиться: двести сорок, двести шестьдесят, восемь пишем, два в уме.

— Мастер Пул.

— Я слышу, Соль. Я старый, а не глухой. — Он дописал цифру и только тогда поднял на неё глаза. Очки были толстые, и глаза за ними казались огромными, как у совы. — В Закрытом фонде то, что закрыто. Поэтому он так и называется. Если бы там было что-то открытое, он бы назывался иначе.

— Опись третья.

Пул молчал.

— Колодезное дело, — сказала Ярина. — Опись третья. Я нашла ссылку в тридцатом томе протоколов. Между налогом на гвозди и жалобой гильдии кожевников на запах из рыбных рядов.

— Кожевники жаловались на запах. — Пул снял очки и протёр их краем рукава. — Ты понимаешь, Соль, что это значит? Кожевники. На запах. Ордис всегда был странным городом. — Он надел очки. — Иди перепиши бондарей.

— Я переписала бондарей. Я переписала бондарей так, что могу петь их наизусть. Громко и неблагозвучно, тем возбуждая в соседях сомнения.

Пул моргнул. Потом, кажется, против воли, усмехнулся.

— Кульм, — сказал он. — Позапрошлый век. Ты и туда добралась.

— Я добралась везде, мастер Пул. Кроме Закрытого фонда.

Он снова уткнулся в столбцы. Ярина знала этот способ: Пул делал так, когда не хотел говорить и надеялся, что она уйдёт сама. Двенадцать лет назад так он пытался выпроводить четырнадцатилетнюю девчонку, которая пришла в архив проситься переписывать долги. Тогда это не сработало. Ярина села на свой табурет, сложила руки и стала ждать.

Она ждала долго. Пул сложил ещё три столбца. Потом перевернул страницу. Потом, не поднимая глаз, сказал:

— Зачем тебе?

Ярина подумала, как ответить. Потом решила ответить правду, потому что Пул всё равно узнал бы, а правда была достаточно странной, чтобы сойти за шутку.

— Мне с детства снится женщина с синим шаром, — сказала она. — Она открывает дверь свету, и шар трескается. Раньше я на этом просыпалась. Последние три недели вижу дальше: шар раскалывается, а женщина падает. Другим снится другое. Рыбаку с Солёного мыса — что снизу просят открыть. Швее из Ткацкого квартала снится, что у неё из груди тянут нитку. Старуха Ама сидит у пересохшего фонтана и слушает камень ладонями. А в колодезной книге написано, что ниже двадцатой сажени не копать, потому что там Порог. — Она помолчала. — Я просто хочу знать, что именно не копать, мастер Пул. Чтобы, если начнут копать, я знала, бежать мне или нет.

Пул долго смотрел на неё. Огромные совиные глаза за стёклами не мигали.

— Кто ещё знает про эту строку? — спросил он.

— Никто.

— Хальвику говорила?

— Нет.

— Аме?

— Нет. Ама и так знает больше меня. Она просто не умеет читать.

Пул медленно кивнул. Потом снова уткнулся в столбцы.

— Иди обедать, Соль, — сказал он. — И не говори никому. Даже мне. Особенно мне.

* * *

Она пошла обедать. Обедать в Ордисе на двадцать восьмой день после вспышки означало купить у торговки на углу Мучной кусок серого хлеба с луком за медяк и съесть его, сидя на ступенях Палаты Весов и глядя на Площадь.

Площадь была полна.

У главного фонтана, того, в котором ещё была вода, стояли белые. Не пятеро, как в первый раз. Двенадцать. Они уже не проповедовали по очереди, а пели, все вместе, на два голоса, что-то медленное и красивое, и люди стояли вокруг них плотным кольцом, и многие тоже пели, не зная слов, просто подтягивая мотив. Белые раздавали хлеб. Белый хлеб, мягкий, из пше-

ничной муки, какой в Ордисе не видели с весны. Ярина посмотрела на свою серую корку с луком и подумала, что спорить с мягким белым хлебом будет трудно любой вере.

У старого фонтана, пересохшего, сидели люди Амы. Их тоже стало больше. Человек пятьдесят. Они не пели. Они гудели, на одной ноте, низко, так низко, что Ярина чувствовала этот звук не ушами, а ступенями под собой. Сама Ама сидела на краю сухой каменной чаши, в своём чёрном платке, и держала ладони на камне, и лицо её, с белыми слепыми глазами, было обращено не к небу и не к людям, а вниз. В чашу. В трещины на дне чаши, где когда-то была вода.

Между двумя фонтанами, ровно посередине, стоял стражник Хальвика и делал вид, что не смотрит ни туда, ни сюда.

Ярина доела хлеб. Отряхнула руки.

У входа в Палату Весов, когда она поднималась обратно, ей встретился человек в белом. Не из тех, что пели. Старше. Сухой, высокий, с аккуратной седой бородкой и с золотой нашивкой на рукаве, солнцем с восемью лучами. Он выходил из Палаты, и на лице у него было вежливое, спокойное недовольство, как у человека, которому отказали в мелочи и который не собирается из-за этого расстраиваться. Он посмотрел на Ярину, коротко, мимо, и кивнул, как кивают незнакомым на лестнице. Глаза у него были светлые и очень спокойные.

Ярина спустилась в подвал.

Мастер Пул сидел за своим столом и не складывал столбцы. Он сидел неподвижно, положив руки на раскрытую книгу, и руки у него дрожали.

— Мастер Пул?

— Это был брат Онорий, — сказал Пул, не оборачиваясь. — Из Солнечного дома. Старший у них здесь. Он приходил к совету гильдий с просьбой. — Пул снял очки и положил их на книгу. Без очков лицо у него стало беззащитным, как у младенца. — Солнечная вера просит у города разрешения ознакомиться с хрониками основания Ордиса. Для благословения. Они хотят, сказал брат Онорий, освятить место, где стоял первый колодец города, потому что первый колодец — это сердце, а сердце надо освятить, чтобы оно билось правильно. Он сказал это очень красиво. Совет растрогался.

— И?

— Совет гильдий послал его ко мне, потому что хроники у меня. А я сказал ему, что хроники основания Ордиса сгорели в Большом пожаре сто восемьдесят лет назад. — Пул надел очки. — Они не сгорели, Соль.

Ярина молчала.

— Я в этом подвале с двенадцати лет, — сказал Пул. — Двадцать с лишним лет сидел за соседним столом с отцом, пока он был жив, и с тех пор сижу один. Отец пришёл сюда мальчишкой к своему отцу. Я никогда в жизни никому не лгал о том, что лежит на этих полках. Ни совету, ни гильдиям, ни вельсарским шпионам, которые приходили сюда раз в год под видом торговцев и спрашивали карты гавани. Карты гавани я им давал. Старые. Они так и не поняли, почему корабли у них садятся на мель. — Он помолчал. — А сегодня я солгал человеку с солнцем на рукаве. Сразу. Не думая. Как будто кто-то дёрнул меня за язык.

— Почему?

— Потому что он смотрел на меня так, будто уже знает, что я скажу, — сказал Пул. — И ему было всё равно, что я скажу. Он придёт ещё раз. С другими бумагами. Или с другими людьми. — Старик посмотрел на неё снизу вверх, огромными совиными глазами. — Сегодня вечером, Соль. После того, как запрут Палату. Приходи. Я покажу тебе опись третью. А потом ты поклянёшься мне, что никому не скажешь. И будешь знать, бежать тебе или нет.

* * *

До вечера она переписывала бондарей. Буквы расползались. Дважды она написала «Порог» вместо «пошлина», и дважды соскабливала ножиком, пока на листе не появилась дыра.

Когда колокол на Палате пробил пятый час, она поднялась наверх за водой и столкнулась на лестнице с Хальвиком. Капитан спускался в подвал, к Пулу, со свёрнутой бумагой под мышкой: опять гарнизону задолжали жалованье, и опять Хальвик пришёл проверить, на какой странице книги этот долг записан, чтобы потом показывать совету пальцем.

— Госпожа архивистка. — Он посторонился, пропуская её. Потом, когда она уже прошла, сказал ей в спину, тихо, так, что слышала только она: — Белый, который с солнцем на рукаве. Онорий.

Ярина остановилась.

— Он сегодня с утра ходил по моим ребятам на стене, — сказал Хальвик. — Угощал. Спрашивал, где в городе самые старые колодцы. Платил серебром. Вельсарским, кстати. — Капитан поскрёб перебитый нос. — Мои ребята не знают, где колодцы. Они знают, где кабаки. Так ему и сказали. Он не обиделся. Он вообще ни на что не обижается, этот. Улыбается.

— Зачем вы мне это говорите, капитан?

— Затем, что вы знаете всё, что лежит в этом подвале. — Хальвик посмотрел на неё снизу вверх, с нижней ступеньки. Глаза у него были усталые и очень трезвые. — А я двадцать лет назад сбежал из Вельсары от людей, которые тоже никогда не обижались и всегда улыбались. Если он спросит вас про колодцы, госпожа Соль, вы не знаете. Вы переписываете бондарей.

— Я и правда переписываю бондарей.

— Вот и славно. — Хальвик кивнул и пошёл вниз, к Пулу, насвистывая сквозь зубы что-то короткое, без начала и конца, как свистят караульные на ветру.

Ярина постояла на лестнице с пустым кувшином в руке. Потом пошла за водой.

* * *

Второй подвал был ниже первого на два человеческих роста, и воздух там был другой: сухой, неподвижный, с запахом, который Ярина не сразу узнала. Не плесень. Не пыль. Что-то вроде запаха камня в глубоком колодце, когда наклоняешься над срубом в жаркий день и оттуда тянет холодом.

Пул шёл впереди со свечой. Его тень, огромная, качалась по стенам. Полки здесь были не деревянные, а каменные, вырубленные прямо в стенах, и на них лежали не тома, а свёртки, футляры, ящики. Пул шёл уверенно, не глядя по сторонам. Остановился у дальней стены. Поставил свечу в нишу. Снял с полки длинный кожаный футляр, потемневший, потрескавшийся, перевязанный ремнём.

— Опись третья, — сказал он. — Колодезная книга Ордиса. Не та, что наверху. Та переписана триста лет назад с этой, но без кое-каких страниц. Эту вёл Ордвин Колодезник, тот, кто первым копал здесь колодцы. Город назвали в его честь. Наполовину. Вторую половину никто не помнит.

Он развязал ремень. Достал из футляра тонкую книгу в деревянных крышках, обтянутых кожей. Положил на каменный выступ, как на стол. Раскрыл.

Буквы были старые, угловатые, некоторые Ярина узнавала с трудом. Чернила выцвели до цвета ржавчины. Но читать было можно. Она читала медленно, вслух, шёпотом, потому что в этом подвале нельзя было говорить громко.

В лето четвёртое по основании копали мы колодец посреди торга, на месте, что ныне зовётся Весовым, ибо вода на сём месте, сказывали лозоходцы, есть, и вода добрая. Копали двадцать человек сменами, день и ночь. На двенадцатой сажени пошла глина синяя, на пятнадцатой камень, на восемнадцатой вода, но вода холодная выше меры, так что работникам сводило руки. Копали дальше, ибо вода шла снизу, а не с боков, и хотели найти жилу.

На двадцатой сажени ударили в камень, что не камень.

Чёрен он был и гладок, как кость обожжённая, и тёпл на ощупь, хоть вода вокруг была ледяная. Очистили его и увидели, что это свод. Арка, высотою в три человеческих роста, иль более, ибо низа мы не видели. Без двери и без створок, лишь проход, и в проходе тьма. Из тьмы тянуло хладом, как тянет из погреба, да только не погребной то хлад был, а иной, от коего у людей останавливалось сердце, и иные падали и вставали не сразу. И слышно было из тьмы, будто течёт река, тихо и широко, хоть никакой реки под Ордисом нет.

По своду знаки, нам неведомые. Ни нашей грамоты, ни вельсарской, ни иной, какую знали мы. Зарисовал, сколько мог.

Под этими строками был рисунок. Ярина наклонилась ближе. Свеча в нише качнулась, и рисунок дрогнул. Арка. Простая, высокая, без украшений. Пустой проход. Вдоль свода — ряд знаков, мелких, угловатых, похожих на следы птиц на мокром песке. Ничего похожего Ярина никогда не видела.

Она перевернула страницу.

Трое пошли во тьму, по верёвке, с огнём: Ханнес Кривой, Торбальд сын мой, и Эмма-вдова, что вызвалась сама, ибо мужа её схоронили о прошлой весне и она хотела, сказала, посмотреть. Огонь у них погас на третьем шаге. Верёвку держали мы, и верёвка шла и шла, и мы стравили всю, и связали другую, и стравили и ту. Потом верёвка ослабла.

Вытащили одну Эмму. Были они во тьме, по счёту нашему, менее часа. Эмма вышла седою вся, хоть шла во тьму с волосом тёмным, и сказала, что были они там три дня и три ночи. Что там берег, и река в тумане, и на берегу стоят. Многие. Не ходят, не говорят, стоят и смотрят на воду. И муж её стоял там, сказала она, и она звала его, а он не обернулся. А Ханнес и Торбальд пошли к воде, и она звала их, и они не обернулись тоже.

И ещё сказала Эмма: стоят они и ждут. Ждут, кто отворит.

Мы не поняли, что она сказала. Но спрашивать было нельзя, ибо к вечеру Эмма легла и больше не встала. Сына моего Торбальда я не видел более.

Ярина остановилась. Свеча в нише горела ровно. Пул стоял рядом, не двигаясь, и смотрел не на книгу, а в стену.

Она дочитала.

Совет постановил: колодец засыпать до двадцатой сажени, а ниже не копать никогда, ни для какой нужды. Над засыпью сложить каменную чашу и пустить в неё воду из жилы, что на восемнадцатой, чтобы вода стояла поверх и держала. Пока стоит вода, стоит и Ордис. Так сделано. Записал я, Ордвин, в лето четвёртое, рукою своею, и да простит меня сын мой.

Внизу, другими чернилами, бурыми, тем же наклонным почерком, что и приписка наверху, кто-то добавил:

Вода ушла. Год 382 по основании. Сказать совету не решился. Б. П.

Ярина подняла голову.

— Б. П., — сказала она.

— Бартоломей Пул, — сказал мастер Пул. — Мой отец. Двадцать лет назад. Когда в фонтане на Весовой ушла вода. Ты помнишь? Тебе было шесть. Все говорили, что это из-за вельсарцев, которые перекрыли жилу где-то выше по склону. Совет даже посылал людей искать. Не нашли. А вода ушла не вбок. Вниз.

Он помолчал.

— Отец пришёл сюда, прочитал это и написал приписку. Внизу и наверху, в общем перечне, чтобы, если кто найдёт, знал. А совету не сказал. Боялся, что совет сделает то, что делают все советы, когда боятся: начнёт копать, чтобы посмотреть. — Пул посмотрел на неё. — Он умер через год. От сердца. Я думаю, он сюда спускался ещё. Слушать.

Ярина посмотрела на книгу. На рисунок арки. На строки: *стоят и ждут, кто отворит*.

— Мастер Пул, — сказала она медленно. — Когда вода ушла… двадцать лет назад… что-то ещё случилось? Тогда же?

Пул долго не отвечал. Потом сказал:

— Тогда же, в тот же год… Мне было не до того, отец слёг. Потом говорили, что где-то на востоке умер бог. Не помню какой. Говорили, что бог… — Он поморщился, вспоминая. — Звёзд, кажется. Или пространства. Церковь Девяти в Ордисе тогда целый месяц спорила, правда ли это и кого из них не стало, если правда. Так и не договорились. — Он закрыл книгу. — Совпадение, Соль. Наверное.

— Наверное, — сказала Ярина.

Пул убрал книгу в футляр. Завязал ремень. Положил на полку. Взял свечу.

— Теперь клянись, — сказал он.

— В чём?

— Что никому. Ни совету. Ни Хальвику. Ни Аме, ни её людям. Особенно им. Ни белым. Особенно им. Если узнает Вельсара, они разроют площадь, чтобы посмотреть, нельзя ли это использовать. Если узнают Солнечные, они разроют её, чтобы освятить. Если узнает Ама… — Пул покачал головой. — Ама разроет её руками. Её люди уже слушают камень. Им не хватает только знать, где копать. Клянись, Соль.

— А если начнут копать без меня?

— Тогда ты будешь знать, бежать тебе или нет, — сказал Пул. — Ты этого хотела. Клянись.

Ярина поклялась.

* * *

Она легла поздно. Комната над аптекой вдовы Рохи пахла сушёной мятой и ромашкой, как всегда. Через щели в полу снизу тянуло холодком, как всегда. Ярина лежала и смотрела в потолок и думала, что не уснёт.

Она уснула сразу. Будто кто-то потянул её вниз.

Ей не снился круглый зал с дверями. Не снилась женщина цвета поздних слив. Ей снилась яма.

Ночь. Звёзды. Кладбище, незнакомое, на склоне, с чугунной оградой и деревянными столбиками вместо камней. Свежий холм, раскопанный. Яма в рост. И в яме, на коленях, юноша.

Ярина видела его сверху, будто стояла на краю. Он был в серой рясе, перепачканной землёй, руки чёрные до локтей. Тёмные жёсткие волосы, на макушке вихор, торчащий, как у ребёнка, который только что проснулся. Лицо она видела плохо. Видела только губы. Синие. Как у утопленника.

Он держал что-то в руке. Маленькое. Чёрное. Ярина не видела, что это, но знала, как знают во сне: это не камень и не дерево. Это кость. Тёплая. Она чувствовала её тепло, хотя была далеко.

От кости тянулась нитка. Тонкая, как волос, светлая. Тянулась от его ладони вперёд и вниз, в землю, сквозь землю, сквозь гроб, и дальше, туда, где Ярина не могла видеть, но слышала: тихо, широко, в тумане, текла река.

Юноша поднёс кость к губам.

И тогда пришёл звук. Ярина не слышала его. Она почувствовала его рёбрами, зубами, позвоночником, как чувствовала на ступенях Палаты гудение людей Амы, только в тысячу раз сильнее. Звук шёл снизу. Из-под ямы. Из-под кладбища. Из-под всего мира. И где-то рядом, в другом месте, в зале без окон, разом погасли свечи.

А потом под ней, далеко внизу, под землёй, под двадцатой саженью, кто-то ответил.

Не звуком. Движением. Как будто огромная, тёмная, тяжёлая вещь, лежавшая неподвижно очень долго, вдруг повернулась на другой бок.

Юноша в яме поднял голову. И посмотрел прямо на неё.

* * *

Она проснулась на полу.

Не помнила, как упала с кровати. Лежала на досках, щекой на половике, и чувствовала, как сквозь щели снизу, из аптеки, тянет холодом. Сильнее, чем обычно. Сердце колотилось так, что было больно.

За окном было ещё темно, но не совсем. Серело. Скоро рассвет.

Ярина села. Нашарила на столе огарок и огниво. Руки тряслись, огниво не высекало искру, и она выругалась так, что вдова Роха внизу, наверное, проснулась. Потом искра всё-таки упала на трут, и затеплился огонёк, и от него свеча.

Она открыла тетрадь. Последнюю, третью, исписанную до середины. Взяла перо. Подумала, с чего начать.

Юноша. Лет восемнадцать-двадцать. Серая ряса, вероятно храмовая (какой храм?). Тёмные волосы, вихор на макушке. Губы синие. Яма — разрытая могила. Держит чёрную кость, тёплую. Нитка от кости — вниз, к реке. Он дует в кость. Звук — снизу. Гасит свечи (где-то в другом месте, в зале без окон). Под Ордисом (?) — ответ. Что-то поворачивается.

Он посмотрел на меня.

Она перечитала. Посидела. Дописала:

Это не женщина в сливовом. Это не прошлое. Это сейчас.

Потом подумала и приписала ещё одну строку, мелко, у самого края, так, как когда-то Бартоломей Пул приписал на полях колодезной книги:

Он идёт к воде. Мы снизу, он сверху. Одна и та же дверь.

Она закрыла тетрадь, положила на неё ладонь и сидела так, пока свеча не прогорела до половины, а за окном не стало совсем светло.

* * *

Утром на Площади Весов, у пересохшего фонтана, люди Амы гудели.

Ярина шла в архив и не хотела останавливаться. Она остановилась. Гудение было другим. Не на той ноте, что вчера. Ниже. Намного ниже. Так низко, что у неё заныли зубы. И она узнала его. Это был звук из сна. Тот, что пришёл снизу, когда юноша поднёс кость к губам.

Ама сидела на краю чаши. Ладони на камне. Белые глаза обращены вниз. Губы шевелились.

Ярина подошла ближе. Сама не знала зачем.

Ама подняла голову.

Она не видела, Ярина знала это точно: старуха была слепа с рождения, гадала на ракушках у Солёного мыса на ощупь. Но голову она подняла прямо на Ярину и повернула лицо к ней, как поворачивают к огню.

— Ты слышала, — сказала Ама. Она знала.

Ярина молчала.

— Мы все слышали, — сказала старуха. Голос у неё был тихий, сухой, как шорох ракушек. — Ночью. Все разом проснулись. Кто ещё не спал — упал. Это он. — Ама улыбнулась беззубым ртом. — Ключ запел. Далеко-далеко. Там, где земля твёрдая. Он уже у мальчика в руке. А мальчик идёт к воде.

— Какой мальчик? — Голос у Ярины сел.

— Ты знаешь какой. Ты его видела. Ты всегда видишь раньше нас, девочка. Ты сверху, мы снизу. — Ама снова опустила ладони на камень. — Скажи своему старику в подвале: пусть не боится. Мы не будем копать. Нам не надо копать. Надо только ждать, когда он придёт. Ключ сам откроет.

Ярина отступила на шаг. Потом на два.

Люди Амы гудели. Камень фонтана под их ладонями, сухой, растрескавшийся, был покрыт мелкими каплями. Ярина сначала подумала, что это роса. Потом увидела, что капли выступают изнутри. Из трещин. Холодные, как вода с восемнадцатой сажени.

Она развернулась и пошла в архив. Быстро. Не оглядываясь.

У главного фонтана белые пели утреннее. Солнце вставало над крышами, и на миг весь фонтан, и белые вокруг него, и брат Онорий с солнцем на рукаве стояли в таком ровном, таком чистом свете, что Ярине пришлось зажмуриться.

Когда она открыла глаза, свет был обычный. Утренний. Ордисский.

Брат Онорий смотрел ей вслед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.